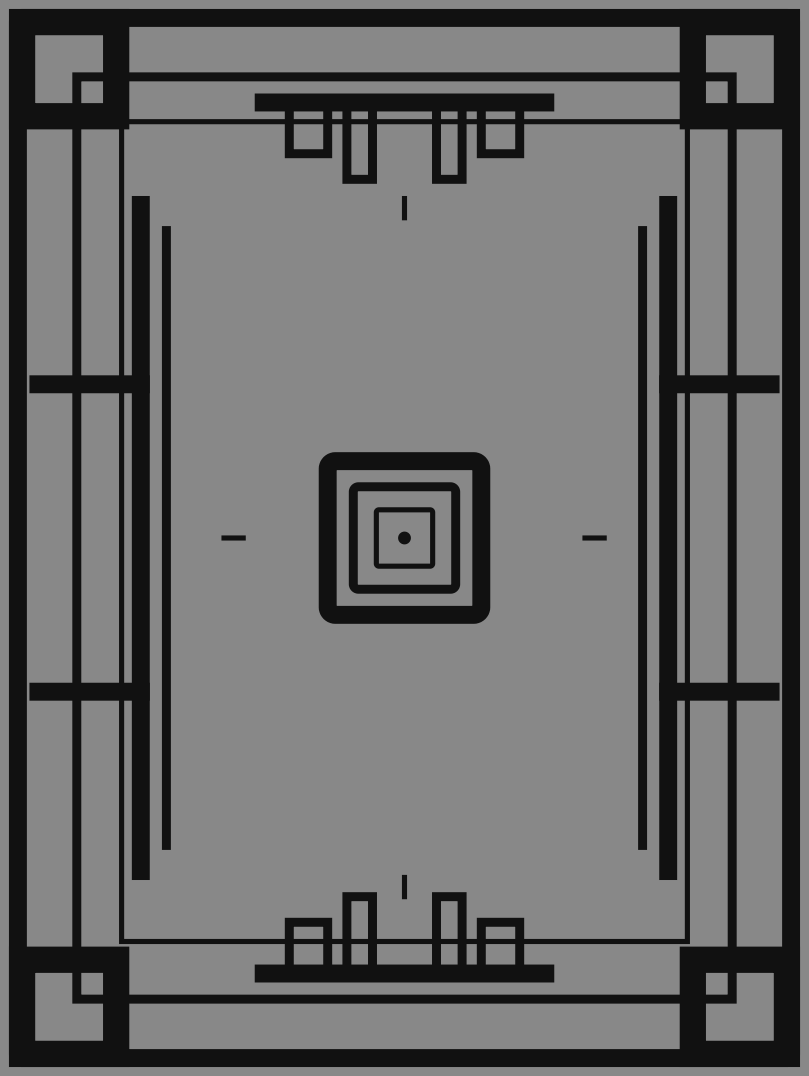


Грехи графа Сарадина
Гилберт Кийт Честертон

Аннотация
Честертон Гилберт Кийт. ГРЕХИ ГРАФА САРАДИНА

Аннотация

Честертон Гилберт Кийт
ГРЕХИ ГРАФА САРАДИНА

Когда Фламбо уезжал, чтобы отдохнуть от своей конторы в Вестминстере, он проводил обычно этот месяц вакаций в ялике, таком крошечном, что нередко идти на веслах в нем было проще, чем под парусом. К тому же уезжал он обычно в графства Восточной Англии, где текли речушки такие крошечные, что издали ялик казался волшебным корабликом, плывущим на всех парусах посуху, меж полей и заливных лугов. В ялике могли с удобством разместиться лишь два человека, а всего остального места едва хватало для самого необходимого. Фламбо и грузил в него то, что собственная жизненная философия приучила его считать самым необходимым. Он довольствовался четырьмя вещами: консервированная семга — на случай, если ему захочется есть; заряженные пистолеты — на случай, если ему захочется драться; бутылка бренди — скорее всего, на случай обморока; и священник — скорее всего, на случай смерти. С этим легким грузом он и скользил потихоньку по узеньким норфолкским речушкам, держа путь к побережью и наслаждаясь видом склонившихся над рекой деревьев и зеленых лугов, отраженных в воде поместий и поселков, останавливаясь, чтобы поудить в тихих заводях, и прижимаясь, если можно так выра-

зиться, к берегу. Как истинный философ Фламбо не ставил себе на время путешествия никакой цели; вместе с тем, как у истинного философа, у него был некий предлог. У него было некое намерение, к которому он относился достаточно серьезно, чтобы при успехе обрадоваться достойному завершению путешествия, но и достаточно легко, чтобы неудача его не испортила. Много лет назад, когда он был королем воров и самой известной персоной в Париже, он часто получал самые неожиданные послания с выражением одобрения, порицания или даже любви; одно из них он не забыл до сих пор. Это была визитная карточка в конверте с английским штемпелем. На обороте зелеными чернилами было написано по-французски: «Если когда-нибудь вы уйдете от дел и начнете респектабельную жизнь, навестите меня. Я хотел бы познакомиться с вами, ибо я знаком со всеми другими великими людьми нашего времени. Остроумие, с которым вы заставили одного сыщика арестовать другого, составляет великолепнейшую страницу истории Франции». На лицевой стороне карточки было изящно выгравировано: «Граф Сарадин, Камышовый замок, Камышовый остров, графство Норфолк». В те дни Фламбо не очень-то задумывался об этом

приглашении; правда, он навел справки и удостоверился, что в свое время граф принадлежал к самым блестящим кругам светского общества Южной Италии. Ходили слухи, что в юности он бежал с замужней женщиной знатного рода, весьма обычная история в его кругу, если бы не одно трагическое обстоятельство, благодаря которому оно запомнилось: как говорили, муж этой женщины покончил с собой, бросившись в пропасть в Сицилии. Какое-то время граф прожил в Вене; последние же годы он провел в беспрестанных и беспокойных странствиях. Но когда Фламбо, подобно самому графу, перестал привлекать внимание европейской публики и поселился в Англии, он как-то подумал, что неплохо было бы нанести, конечно, без предупреждения, визит этому знатному изгнаннику, поселившемуся среди норфолкских долин. Он не знал, удастся ли ему отыскать поместье графа, настолько оно было мало и прочно забыто. Впрочем, случилось так, что он нашел его гораздо быстрее, чем предполагал. Однажды вечером они причалили к берегу, поросшему высокими травами и низкими подстриженными деревьями. После тяжелого дня сон рано одолел их, но по странной случайности оба проснулись на рассвете. Строго говоря, день

еще не занялся, когда они проснулись; огромная лимонная луна только садилась в чащу высокой травы у них над головами, а небо было глубокого сине-лилового цвета — ночное, но светлое небо. Обоим вспомнилось детство неизъяснимая, волшебная пора, когда заросли трав смыкаются над нами, словно дремучий лес. Маргаритки на фоне гигантской заходящей луны казались какими-то огромными фантастическими цветами, а одуванчики — огромными фантастическими шарами. Все это напомнило им почему-то рисунок на обоях в детской. Река подмывала снизу высокий берег, и они смотрели вверх на траву, словно прячась в корнях зарослей и кустарников. — Ну и ну! — воскликнул Фламбо. — Словно заколдованное царство! Отец Браун порывисто сел и перекрестился. Движения его были так стремительны, что Фламбо взглянул на него с удивлением и спросил, в чем дело. — Авторы средневековых баллад, — отвечал священник, — знали о колдовстве гораздо больше, чем мы с вами. В заколдованных царствах случаются не одни только приятные вещи. — Чепуха! — воскликнул Фламбо. — Под такой невинной луной могут случаться только приятные вещи. Я предлагаю плыть тотчас же дальше — посмотрим,

что будет! Мы можем умереть и пролежать целую вечность в могилах — а такая луна и такое колдовство не повторятся! — Что ж, — сказал отец Браун. — Я и не думал говорить, что в заколдованное царство вход всегда заказан. Я только говорил, что он всегда опасен. И они тихо поплыли вверх по светлеющей реке; лиловый багрянец неба и тусклое золото луны все бледнели, пока, наконец, не растаяли в безграничном бесцветном космосе, предвещающем буйство рассвета. Первые нежные лучи серо-алого золота прорезали из края в край горизонт, как вдруг их закрыли черные очертания какого-то городка или деревни, возникшие впереди на берегу. В светлеющем сумраке рассвета все предметы были явственно видны — подплыв поближе, они разглядели повисшие над водой деревенские крыши и мостики. Казалось, что дома с длинными, низкими, нависшими крышами столпились на берегу, словно стадо огромных серо-красных коров, пришедших напиться из реки, а рассвет все ширился и светлел, пока не превратился в обычный день, но на пристанях и мостах молчаливого городка не видно было ни души. Спустя какое-то время на берегу появился спокойный человек преуспевающего вида, с лицом таким же

круглым, как только что зашедшая луна, с лучиками красно-рыжей бороды вокруг нижнего его полукружия; стоя без пиджака у столба, он следил за ленивой волной. Повинуясь безотчетному порыву, Фламбо поднялся в шатком ялике во весь свой огромный рост и зычным голосом спросил, не знает ли он, где находится Камышовый остров. Тот только шире улыбнулся и молча указал вверх по реке, за следующий поворот. Не говоря ни слова, Фламбо поплыл дальше. Ялик обогнул крутой травянистый выступ, потом другой, третий и миновал множество поросших осокой укромных уголков; поиски не успели им наскучить, когда, пройдя причудливой излучиной, они оказались в тихой заводи или озере, вид которого заставил их тут же остановиться. В центре этой водной глади, окаймленной по обе стороны камышом, лежал низкий длинный остров, на котором стоял низкий длинный дом из бамбука или какого-то иного прочного тропического тростника. Вертикальные стебли бамбука в стенах были бледно-желтыми, а диагональные стебли крыши — темно-красными или коричневыми, только это и нарушало монотонное однообразие длинного дома. Утренний ветерок шелестел в зарослях камыша вокруг острова, посвистывая о ребра

странного дома, словно в огромную свирель бога Пана. — Д-да! — воскликнул Фламбо. — Вот мы и приехали! Вот он, Камышовый остров! А это, конечно, Камышовый замок — ошибиться тут невозможно. Должно быть, тот толстяк с бородой был просто волшебник. — Возможно, — спокойно заметил отец Браун, — Но только злой волшебник! Нетерпеливый Фламбо подвел уже ялик меж шуршащих камышей к берегу, и они ступили на узкий, загадочный остров прямо возле старого притихшего дома. К единственному на острове причалу и к реке дом стоял глухой стеной; дверь была с противоположной стороны и выходила прямо в сад, вытянутый вдоль всего острова. Двое друзей направились к двери тропкой, огибающей дом с трех сторон прямо под низким карнизом крыши. В три разных окна в трех разных стенах дома им видна была длинная светлая зала, обшитая панелями из светлого дерева, с множеством зеркал и с изящным столом, словно накрытым для завтрака. Подойдя к двери, они увидали, что по обе стороны ее стоят две голубые, словно бирюза, вазы для цветов. Дверь отворил дворецкий унылого вида — сухопарый, седой и апатичный, — пробормотавший, что граф Сарадин в отъезде, что его ждут с часу на час и что

дом готов к приезду его самого и его гостей. При виде карточки, исписанной зелеными чернилами, мрачное и бледное, как пергамент, лицо верного слуги на миг оживилось, и с внезапной учтивостью он предложил им остаться. — Мы ждем его сиятельство с минуты на минуту. Они будут в отчаянии, если узнают, что разминулись с господами, которых они пригласили. У нас всегда наготове холодный завтрак для графа и его гостей, и я не сомневаюсь, что его сиятельство пожелали бы, чтобы вы откушали у нас. Побуждаемый любопытством, Фламбо с благодарностью принял предложение, и они последовали за стариком, который торжественно ввел их в длинную светлую залу. В ней не было ничего особо примечательного — разве что несколько необычное чередование длинных узких окон с длинными узкими зеркалами в простенках, что придавало зале на удивление светлый, эфемерный вид. Впечатление было такое, будто садишься за стол под открытым небом. По углам висели неяркие портреты: фотография юноши в военном мундире, выполненный красными мелками эскиз, на котором были изображены два длинноволосых мальчика. На вопрос Фламбо, не граф ли этот юноша в военном мундире, дворец-

кий отвечал отрицательно. Это младший брат графа, капитан Стефан Сарадин, пояснил он. Тут он внезапно замолк и, казалось, потерял последнее желание продолжать разговор. Покончив с завтраком, за которым последовал отличный кофе с ликером, гости ознакомились с садом, библиотекой и домоправительницей — красивой темноволосой женщиной с величавой осанкой, похожей на Мадонну из подземного царства. По-видимому, от прежнего menage[1] Вокруг дома — при всей его необычности и красоте — витала какая-то странная светлая печаль. Часы тянулись в нем, словно дни. Длинные комнаты с высокими окнами были залиты светом, но в свете этом было что-то мертвенное. И, покрывая все случайные звуки — голоса, звон стаканов, шаги слуг, слышался неумолчный и грустный плеск реки. — Недобрый это был поворот и недоброе это место, — сказал отец Браун, глядя из окна на серовато-зеленые травы и серебристый ток воды. — Впрочем, кто знает? Порой добрый человек в недобром месте может сделать немало добра. Отец Браун, хоть и был обычно молчалив, обладал странным даром притяжения, и в эти

---

[1] Примечания: 1
Menage — штат слуг (фр.).

несколько часов, что тянулись целую вечность, он невольно проник в тайны Камышового дворца гораздо глубже, чем его друг-профессионал с его профессиональным чутьем. Он умел дружелюбно молчать, чем невольно вызывал людей на беседу, и, почти не раскрывая рта, узнавал все, что его новые знакомые хотели бы поведать. Правда, дворецкий совсем не склонен был к разговорам. В нем чувствовалась безрадостная и почти собачья преданность графу, с которым, если верить его словам, поступили очень дурно. Основным обидчиком был, судя по всему, брат его сиятельства; произнося его имя, дворецкий презрительно морщил свой выгнутый, словно клюв попугая, нос и кривил насмешкой бледные губы. Капитан Стефан, по словам дворецкого, был бездельником и шалопаем, он промотал большую часть состояния своего великодушного брата; это из-за него графу пришлось оставить свет и скромно доживать свой век в глуши. Больше дворецкий ничего не захотел им сообщить; несомненно, он был очень предан графу. Итальянка-домоправительница была несколько более склонна к признаниям; очевидно, потому, что была, как показалось Брауну, несколько менее довольна своим положением. Когда она

говорила о своем господине, в голосе ее звучала легкая язвительность, впрочем, приглушаемая чем-то вроде ужаса. Фламбо и отец Браун стояли в зеркальной зале, разглядывая эскиз, на котором были изображены два мальчика, как вдруг быстрыми шагами в нее вошла домоправительница, словно торопясь по какому-то делу. В этой сверкающей стеклянными поверхностями зале каждый входящий отражался одновременно в четырех или пяти зеркалах, — и отец Браун, не повернув головы, умолк на середине начатой фразы. Однако Фламбо, нагнувшийся к эскизу, в эту минуту громко произнес: — Это, верно, братья Сарадин. У обоих такой невинный вид. Трудно сказать, кто из них хороший, а кто — дурной. Тут он осознал, что они в зале не одни и поспешно перевел разговор; после нескольких ничего не значащих фраз он вышел в сад. Отец Браун остался в зале. Он стоял, не отводя глаз от эскиза, а миссис Антони тоже осталась и стояла, не отводя глаз от отца Брауна. Ее огромные карие глаза приобрели трагическое выражение, а оливковые щеки покрыл густой румянец; казалось, ее охватило какое-то горестное недоумение, как бывает, когда, встретившись с незнакомцем, задумаешься над тем, кто он и что ему надо. То ли облачение

и сан отца Брауна пробудили в ней далекие воспоминания об исповеди в родных краях, то ли ей показалось, что он знает больше, чем то было на самом деле, только она вдруг шепнула ему тихо, словно сообщнику: — В одном ваш друг совершенно прав. Он говорит, что трудно решить, кто из них хороший, а кто дурной. Да, трудно, необычайно трудно было бы решить, кто же из них хороший. — Я вас не понимаю, — промолвил отец Браун и повернул к дверям. Она шагнула к нему, грозно хмуря брови и как-то странно, дико пригнулась, словно бык, опустивший рога. — Оба дурны, — прошипела она. — Нехорошо, что капитан взял все эти деньги, но то, что граф отдал их, не лучше. Не у одного только капитана совесть нечиста. Лицо священника на мгновение озарилось, и губы его беззвучно прошептали одно слово: «Шантаж». В ту же минуту домоправительница быстро оглянулась, побелела, как полотно, и чуть не упала. Двери в залу неслышно распахнулись, и на пороге, словно привидение, вырос Поль. Роковые стены отразили пять бледных Полей, появившихся в пяти дверях замка. Его сиятельство прибыли, — молвил он. В то же мгновение мимо залитого светом окна, словно по ярко освещенной сцене, прошел мужчина. Через

секунду он прошел мимо второго окна, и множество зеркал воспроизвели в сменяющихся рамах его орлиный профиль и быстрый шаг. Он был строен и скор в движениях, но волосы у него были седые, а цвет лица напоминал пожелтевшую слоновую кость. У него был короткий римский нос с горбинкой, худое длинное лицо, щеки и подбородок прикрывали усы с эспаньолкой. Усы были гораздо темнее, чем борода, что придавало ему слегка театральный вид; одет он был также весьма живописно: белый цилиндр, орхидея в петлице, желтый жилет и желтые перчатки, которыми он размахивал на ходу. Собравшиеся в зале слышали, как он подошел к входу, и Поль церемонно распахнул перед ним дверь. — Что ж, — промолвил граф весело, — как видишь, я вернулся. Поль церемонно поклонился и что-то тихо ответил. Последовавшего разговора не было слышно. Затем дворецкий сказал: — Все готово к вашему приему. Граф Сарадин вошел в залу, весело помахивая желтыми перчатками. И снова им предстало призрачное зрелище — пять графов ступили в комнату сквозь пять дверей. Граф уронил белый цилиндр и желтые перчатки на стоя и протянул руку своему гостю. — Счастлив видеть вас у себя, мистер Фламбо, — произнес он весело.

Надеюсь, вы позволите мне сказать, что я хорошо знаю вас по слухам. — С удовольствием позволяю, — ответил со смехом Фламбо. — Ничего не имею против. О людях с безукоризненной репутацией редко услышишь что-нибудь интересное. Граф бросил на Фламбо пронзительный взгляд, однако, поняв, что в его ответе не было никакого намека, рассмеялся, предложил всем сесть и уселся сам. — Здесь очень мило, — сказал граф рассеянно. — Боюсь только, делать тут особенно нечего. Впрочем, рыбная ловля хороша. Какое-то странное, непонятное чувство мучило отца Брауна, не отрывавшего от графа напряженного, как у младенца, взгляда. Он смотрел на седые, тщательно завитые волосы, на желто-белые щеки, на стройную, фатоватую фигуру. Во всем его облике не было явной нарочитости, разве что известная подчеркнутость, словно в фигуре актера, залитой светом рампы. Безотчетный интерес вызывало что-то другое, возможно, само строение лица; Брауна мучило смутное воспоминание, словно он уже где-то видел этого человека раньше, словно то был старый знакомый, надевший маскарадный костюм. Тут он вспомнил про зеркала, и решил, что странное это чувство вызвано психологическим эффектом бесчисленного умножения

человеческих масок. Граф Сарадин занялся своими гостями с величайшим вниманием и тактом. Узнав, что Фламбо любит рыбную ловлю и мечтает поскорее заняться ею, он проводил его на реку и показал наилучшее место. Оставив там Фламбо вместе с его яликом, он вернулся в собственном челноке; через двадцать минут он уже сидел с отцом Брауном в библиотеке, с той же учтивостью погрузясь в философские интересы священника. Казалось, он был одинаково сведущ и в рыбной ловле, и в книгах, правда, не самого поучительного свойства, и говорил языках на шести, правда, преимущественно в жаргонном варианте. Судя по всему, он живал в самых различных городах и общался с самой разношерстной публикой, ибо в самых веселых его историях фигурировали игорные притоны и курильщики опиума, беглые австралийские каторжники и итальянские бандиты. Отец Браун знал, что граф Сарадин, бывший когда-то светским львом, провел последние годы в почти беспрестанных путешествиях, но он и не подозревал, что путешествия эти были столь забавны и столь малопочтенны. Такой чуткий наблюдатель, каким был отец Браун, ясно ощущал, что при всем достоинстве светского человека графу Сарадину был присущ особый

дух беспокойства и даже безответственности. Лицо его было благообразным, однако во взгляде таилось что-то необузданное; он то и дело барабанил пальцами или нервно вертел что-нибудь в руках, словно человек, здоровье которого подорвали наркотики или спиртное; к тому же кормила домашней власти были не в его руках, чего, впрочем, он и не скрывал. Всем в доме заправляли домоправительница и дворецкий, особенно последний, на котором, несомненно, и держался весь дом. Мистер Поль был, безусловно, не дворецким, а, скорее, управляющим или даже камергером; обедал он отдельно, но почти с той же торжественностью, что и его господин; слуги перед ним трепетали; и хоть он для приличия и советовался с графом, но делал это строго и церемонно, словно был поверенным в делах, а отнюдь не слугой. Рядом с ним мрачная домоправительница казалась просто тенью; она совсем стушевалась и была всецело им поглощена, так что Брауну не пришлось больше услышать ее страстного шепота, приоткрывшего ему тайну о том, как младший брат шантажировал старшего. Он не знал, верить ли этой истории об отсутствующем капитане, но в графе Сарадине было нечто ускользающее, потаенное, так что

история эта не казалась вовсе невероятной. Когда они вернулись наконец в длинную залу с окнами и зеркалами, желтый вечер уже лег на прибрежные ивы; вдалеке ухала выпь, словно лесной дух бил в крошечный ба рабан. И снова, словно серая туча, в уме священника всплыла мысль о печальном и злом колдовстве. — Хоть бы Фламбо вернулся, — пробормотал он. — Вы верите в судьбу? — внезапно спросил его граф Сарадин. — Нет, — отвечал его гость, — Я верю в Суд Господень. Граф отвернулся от окна и как-то странно, в упор взглянул на священника; лицо его на фоне пламенеющего заката покрывала густая тень. — Что вы хотите этим сказать? — спросил он. — Только то, что мы стоим по сю сторону завесы, — отвечал отец Браун. — Все, что здесь происходит, казалось бы, не имеет никакого смысла; но оно имеет смысл где-то в другом месте. Там настоящего преступника ждет возмездие. Здесь же оно нередко падает не на того, на кого следует. Граф издал какой-то странный звук, словно раненое животное, глаза его на затененном лице как-то странно засветились. Новая и острая догадка внезапно, словно бесшумный взрыв, озарила священника. Возможно, блеск и рассеянность, так странно смешавшиеся

в манере Сарадина, имели другое объяснение? Неужто граф?.. В полном ли он рассудке? Граф все повторял: — Не того, кого следует… Не того, кого следует… И это странно противоречило обычной светскости его манер, Тут отец Браун с опозданием заметил и другое. В зеркалах напротив он увидел, что дверь в залу беззвучно распахнулась, а в ней беззвучно встал мистер Поль, с застывшим, мертвенно-бледным лицом. — Я подумал, что мне следует немедля сообщить вам, — сказал он все с тем же церемонным почтением, словно старый семейный адвокат, — что к причалу подошла лодка с шестью гребцами. На корме сидит джентльмен. — Лодка? — повторил граф. — Джентльмен? И он поднялся. Во внезапно наступившей тишине слышался лишь зловещий крик птицы в камышах, и тут же — не успел никто и слова сказать — мимо трех солнечных окон мелькнула новая фигура и новый профиль, подобно тому, как часа два назад мимо них промелькнул сам граф. Но если не считать того совпадения, что у обоих носы были орлиные, во внешности их не было никакого сходства. Вместо нового белого цилиндра Сарадина на голове у незнакомца была черная шляпа устаревшего или, возможно, чужеземного фасона; юным и строгим

лицом, гладко выбритыми щеками, чуть синеющим решительным подбородком он отдаленно напоминал молодого Наполеона. Впечатление это усиливалось некоей старообразностью и странностью общего облика, словно незнакомец никогда не задумывался о том, чтобы изменить одежду предков. На нем были старый синий фрак, красный жилет, чем-то напоминающий военный, а жесткие белые панталоны, какие носили в начале царствования королевы Виктории, выглядели сейчас весьма неуместно. По сравнению с этим нелепым одеянием, словно взятым напрокат из лавки старьевщика, лицо его казалось удивительно юным и чудовищно искренним. — Дьявольщина! — вскричал граф. Быстро надев свой белый цилиндр, он направился к двери и широко распахнул ее в залитый заходящим солнцем сад. Незнакомец и его спутники выстроились на лужайке, словно небольшая армия на театральной сцене. Шестеро гребцов вытянули лодку на берег и выстроились вокруг, чуть не угрожающе подняв, словно копья, весла. Это были смуглые люди: у некоторых в ушах сверкали серьги. Один из них, держа в руках большой черный футляр необычной формы, вышел вперед и стал возле юноши с оливковым лицом. — Ваше имя

Сарадин? — спросил юноша. Сарадин небрежно кивнул. Глаза незнакомца, спокойные и карие, как у породистого пса, были совсем не похожи на бегающие блестящие глаза графа. Но отца Брауна снова охватило болезненное ощущение, будто он уже где-то видел такое же точно лицо; и снова он вспомнил о бесконечном повторе лиц в зеркальной зале и объяснил им это странное совпадение. — Да пропади он пропадом, этот хрустальный дворец! — пробормотал он, — Все в нем повторяется, словно во сне! — Если вы граф Сарадин, — сказал юноша, — я могу сообщить вам, что мое имя Антонелли. — Антонелли, — проговорил граф медленно. — Это имя мне почему-то знакомо. — Разрешите представиться, — сказал молодой итальянец. Левой рукой он учтиво снял шляпу, а правой так сильно ударил Сарадина по лицу, что белый цилиндр скатился вниз по ступеням и одна из синих ваз закачалась на своей подставке. Кем-кем, но трусом граф не был: он схватил своего противника за горло и чуть не повалил его на траву. Но юноша высвободился с видом торопливой учтивости, казавшейся в данном случае на удивление неуместной. — Все правильно, — сказал он, тяжело дыша и неуверенно выговаривая английские слова. — Я нанес

оскорбление. Я дам вам сатисфакцию. Марко, открой футляр. Стоявший рядом с ним итальянец с серьгами в ушах и большим черным футляром открыл его и вынул оттуда две длинные итальянские рапиры, с превосходными стальными рукоятками и сверкающими лезвиями, которые он вонзил остриями в землю. Незнакомец со смуглым лицом мстителя, стоящий против дверей, две шпаги, стоящие, словно два могильных креста, вертикально в дерне, и ряд гребцов позади придавали всей этой странной сцене вид какого-то варварского судилища. Но так стремительно было это вторжение, что кругом все оставалось как было. Золотой закат все сиял на лужайке, а выпь кричала, будто пророча хоть и невеликую, но непоправимую утрату. — Граф Сарадин, — сказал юноша, назвавшийся Антонелли, — когда я был младенцем, вы убили моего отца и похитили мать; из них обоих отцу моему повезло больше. Вы убили его не в честном поединке, как собираюсь убить вас я. Вместе с моей матерью-злодейкой вы завезли его на прогулке в пустынное место в горах Сицилии и сбросили там со скалы, а затем отправились дальше своим путем. Я мог бы последовать вашему примеру, если бы это не было столь низко. Я искал вас по

всему свету, но вы все время ускользали от меня. Наконец я настиг вас здесь — на краю света, на краю вашей погибели. Теперь вы в моих руках, и я даю вам возможность, в которой вы отказали моему отцу. Выбирайте, какой из этих шпаг вы будете драться. Граф Сарадин сдвинул брови и, казалось, мгновение колебался; однако в ушах у него все еще звенело от пощечины; он бросился вперед и схватил рукоять одной из шпаг. Отец Браун также бросился вперед и попытался предотвратить схватку; он скоро, однако, понял, что его присутствие лишь ухудшает положение. Сарадин принадлежал к французским масонам и был ярым атеистом; вмешательство священника лишь подогревало его пыл. Что же до молодого человека — его никто не смог бы остановить. Этот юноша с карими глазами и лицом Буонапарте был тверже любого пуританина — он был язычником. Он был готов убить просто, как убивали на заре веков; он был человеком каменного века — нет, каменным человеком. Оставалось одно — созвать всех домочадцев; отец Браун бросился в дом. Тут он, однако, узнал, что мистер Поль своей властью отпустил всех слуг на берег, одна лишь мрачная миссис Антони бродила, как призрак, по длинным комнатам. Однако в тот миг, когда она

обратила к нему свое мертвенно-бледное лицо, отец Браун разгадал одну из загадок зеркального дворца. Большие карие глаза Антонелли были так похожи на большие карие глаза миссис Антони, что половина тайны открылась ему, словно в озарении. — Ваш сын здесь, — сказал он без долгих слов. — Либо он, либо граф будут убиты. Где мистер Поль? — Он у причала, — ответила она тихо. — Он… он… зовет на помощь. — Миссис Антони, — сказал отец Браун твердо, — сейчас не время для пустяков. Мой друг ушел на ялике вниз по течению. Лодку вашего сына охраняют его гребцы. Остается один челнок. Зачем он мистеру Полю? — Святая Мария! Откуда мне знать? — проговорила она и упала на покрытый циновками пол. Отец Браун уложил ее на диван, плеснул ей в лицо воды, крикнул слуг и бросился к пристани. Но челнок был уже на середине реки, и старый Поль гнал его вверх по течению с силой, казавшейся невероятной для его лет. — Я спасу своего господина, — кричал он, сверкая глазами, словно помешанный. — Я еще спасу его! Отцу Брауну ничего не оставалось, как только поглядеть вслед челноку, рывками идущему вверх по течению, и понадеяться, что Поль успеет разбудить городок и вовремя вернуться. — Дуэль — это,

конечно, плохо, — пробормотал он, откидывая со лба свои жесткие волосы цвета пыли. — Но что-то в этой дуэли не так. Я сердцем чувствую. Что бы это могло быть? Так он стоял у реки, глядя на воду, это дрожащее зеркало заката, и тут с другого конца сада до него долетели негромкие звуки — ошибиться было невозможно, то было холодное бряцание стали. Он повернул голову. На дальнем вытянутом конце длинного островка, на до-лоске травы за последним рядом роз, дуэлянты скрестили шпаги. Над ними пламенел чистый золотой купол вечернего неба, и, несмотря на расстояние, отец Браун отчетливо видел все детали. Дуэлянты сбросили фраки, но желтый жилет и белые волосы Сарадина и красный жилет и белые панталоны Антонелли блестели в ровном свете заката, словно яркие одежды заводных танцующих кукол. Две шпаги сверкали от рукояти до самого острия, словно две бриллиантовые булавки. В двух этих фигурках, казавшихся такими маленькими и такими веселыми, было что-то страшное. Они похожи были на двух бабочек, пытающихся насадить друг друга на булавку. Отец Браун побежал к месту дуэли с такой быстротой, что ноги его замелькали, будто спицы в колесе. Однако, добежав до лужайки, он увидел,

что явился слишком поздно — и в то же время слишком рано: поздно, ибо дуэли, осененной тенью опирающихся на весла сицилийцев, было не остановить; рано, ибо до трагической развязки было еще далеко. Оба дуэлянта были прекрасными фехтовальщиками; граф дрался с циничной самоуверенностью, сицилиец — с убийственным расчетом. Едва ли когда-либо набитый битком амфитеатр видел на сцене поединок, подобный тому, который звенел и сверкал здесь, на затерявшемся островке среди поросшей камышами реки. Блистательная схватка продолжалась так долго, что в груди взволнованного священника начала оживать надежда: с минуты на минуту должен был, по обычным расчетам, появиться мистер Поль с полицией. Отец Браун обрадовался бы и Фламбо, ибо Фламбо один мог с легкостью справиться с четырьмя мужчинами. Но Фламбо не появлялся, и — что было уже совсем странно — не появлялся и Поль с полицией. На островке не было больше ни лодчонки, ни даже доски; они были так же прочно отрезаны от всего мира на этом погибельном клочке земли, затерянном в безвестной заводи, как на коралловом рифе в Тихом океане. Внезапно звон рапир ускорился, послышался глухой удар, и граф вскинул руки

— острие шпаги итальянца показалось у него меж лопаток. Граф качнулся всем телом вправо, словно хотел, как мальчишка, пройтись колесом, но, не закончив фигуры, повалился на траву. Шпага вылетела у него из руки и полетела, словно падающая звезда, в поникшую воду, а сам он с такой силой ударился о землю, что сломал своим телом большой розовый куст, подняв в воздух облако красной пыли, словно дым от курений на языческом алтаре. Сицилиец принес кровавую жертву духу своего отца. Священник упал на колени у бездыханного тела, однако сомнений не было: граф и вправду был мертв. В то время как Браун пытался, без всякой на то надежды, применить какие-то последние, отчаянные средства, с реки наконец-то послышались голоса, и он увидел, как к причалу подлетел полицейский катер с констеблями и прочими немаловажными лицами, среди которых был и взволнованный Поль. Маленький священник поднялся с гримасой недоумения, которую он и не пытался скрыть. — Почему, — пробормотал он, — почему он не появился раньше? Через каких-нибудь семь минут островок заполнили горожане и полицейские; последние взяли под стражу победоносного дуэлянта, с ритуальной

торжественностью напомнив ему, что все, что он скажет, может быть использовано против него. — Я ничего не скажу, — ответил этот одержимый с сияющим, просветленным лицом. — Я больше ничего никогда не скажу. Я очень счастлив, и я хочу только, чтобы меня повесили. Он замолчал, и его увели, и, как ни странно, он и вправду в этой жизни ничего больше не сказал, за исключением одного слова на суде, и слово это было: «Виновен». Отец Браун недвижно взирал на то, как внезапно сад наполнился людьми, как арестовали мстителя, как унесли покойного, когда врач удостоверил смерть, словно в страшном сне, он не мог пошевельнуть и пальцем. Он сообщил свое имя и адрес полицейским, но отклонил предложение вернуться вместе с ними в город, — и остался один в саду, глядя на сломанный розовый куст и на зеленую площадку, на которой столь быстро разыгралась эта таинственная трагедия. На реке померкли отблески вечерней зари; с лугов поднялся туман; несколько запоздалых птиц поспешно пролетели на тот берег. В подсознании Брауна (необычайно активном подсознании) крылась уверенность в том, что во всей этой истории что-то осталось невыясненное. Чувство это, которое он не мог выразить словами, но которое

преследовало его весь день, невозможно было объяснить одной лишь фантазией о «зеркальном царстве». То, что он видел, не было реальностью, это был спектакль, игра. Но разве люди идут на виселицу или дают проткнуть себя шпагой ради шарады? Он размышлял о случившемся, сидя на ступеньках причала, как вдруг увидел длинную тень паруса, бесшумно скользившую по сверкающей реке, и вскочил на ноги с таким внезапно затопившим его чувством, что слезы чуть не брызнули у него из глаз. — Фламбо! — вскричал он, как только Фламбо сошел со своими удочками на берег, и бросился жать ему руки, чем привел того в величайшее удивление. Фламбо, так, значит, вас не убили? — Убили? — отвечал тот с нескрываемым удивлением. — А почему меня должны были убить? — Ах, потому хотя бы, что убили почти всех остальных, — отвечал Браун словно в бреду- Сарадина закололи, Антонелли хочет, чтобы его повесили, его мать без сознания, а что до меня, так я просто не пойму, где я — на том свете или на этом. Но, слава Богу, где бы я ни был, вы со мной! И он взял озадаченного Фламбо под руку. От причала они свернули к дому и, проходя под низко нависшим карнизом крыши, заглянули, как и в первый раз, в одно из окон.

Глазам их открылась залитая светом ламп сцена, словно рассчитанная на то, чтобы привлечь их внимание. Стол в длинной зале был накрыт к обеду, когда убийца Сарадина явился словно гром среди ясного неба на остров. Сейчас здесь спокойно обедали; в конце стола расположилась чем-то недовольная миссис Антони, а напротив, во главе стола восседал мистер Поль, графский majordomo* Фламбо забарабанил по стеклу, рванул на себя раму и с возмущением заглянул в ярко освещенную залу. — Это уж слишком! — воскликнул он. — Вполне допускаю, что вам захотелось подкрепиться, но, знаете ли, украсть обед своего господина в то время, как он лежит бездыханный в саду… — В своей долгой и не лишенной приятности жизни я совершил много краж, невозмутимо отвечал мистер Поль. — Этот обед — одно из немногих исключений. Он не украден. Так же, как и этот сад, и дом, он по праву принадлежит мне. В глазах Фламбо мелькнула догадка. — Вы, верно, хотите сказать, — начал он, — что в завещании графа Сарадина… — Граф Сарадин — это я, — сказал старик, дожевывая соленую миндалину. Отец Браун, который в эту минуту разглядывал птиц в саду, подпрыгнул, словно подстреленный, и сунул в окно свое блед-

ное лицо, похожее на репу. — Кто? — спросил он пронзительно. — Граф Поль Сарадин, a votre service* Он погрузился в молчание, уставившись в противоположную стену прямо над мрачно склоненной головой миссис Антони. Тут им впервые открылось семейное сходство, так поразившее их в умершем. Внезапно плечи старого Сарадина дрогнули и заколыхались, словно он чем-то подавился, хотя лицо и оставалось по-прежнему бесстрастным. — Боже! — воскликнул Фламбо, помолчав. — Да ведь он смеется! — Пойдемте, — сказал побледневший отец Браун. — Пойдемте из этого приюта греха. Вернемся в наш честный ялик. Мгла окутала камни и реку, когда ялик отошел от острова; в темноте они плыли вниз по течению, согреваясь двумя огромными сигарами, пламеневшими, словно два багровых фонаря на корме. Отец Браун вынул сигару изо рта и произнес: — Верно, вы уже разгадали всю эту историю? Ведь она достаточно проста. У человека было два врага. Он был человеком умным. И потому он сообразил, что два врага лучше, чем один. — Я не совсем понимаю, — ответил Фламбо. — О, это очень просто, — сказал его друг. — Просто, хоть и совсем не невинно. И тот, и другой — мерзавцы, но граф, старший из братьев, принадлежит к тем

мерзавцам, что одерживают победу, а младший — к тем, что идут на дно. Этот бесчестный офицер сначала выпрашивал подачки у своего брата, а потом стал шантажировать его, и в один далеко не прекрасный день граф попался ему в руки. Дело, конечно, было не пустячное, ибо Поль Сарадин не скрывал своих похождений, — репутации его не могло повредить ни одно из обычных светских прегрешений. Иными словами, за это дело он мог попасть и на виселицу, и Стефан буквально накинул веревку на шею брата. Каким-то образом ему удалось узнать правду о той сицилийской истории, — он, видно, мог доказать, что Поль убил старшего Антонелли, заманив его в горы. Десять лет капитан сорил деньгами, получаемыми за молчание, пока даже огромное состояние графа не стало стремительно таять. Но, помимо брата-кровопийцы, у графа Сарадина было и другое бремя. Он знал, что сына Антонелли, который был ребенком во время убийства, взрастили в свирепых сицилийских традициях и что он жил одной мыслью: отомстить убийце своего отца — не виселицей (у него, в отличие от Стефана, не было доказательств), но испытанным оружием вендетты. Мальчик занимался фехтованием, пока не овладел этим смертельным искусством в

совершенстве; когда он достаточно вырос, чтобы применить шпагу на деле, графом Сарадином, как писали светские газеты, овладела страсть к путешествиям. На деле он просто спасал свою жизнь: словно преступник, за которым гонится полиция, он поменял десятки мест; но неутомимый юноша всюду следовал за ним. Таково было положение, в котором находился граф Сарадин, положение, далеко не веселое. Чем больше денег тратил он на то, чтобы скрыться от Антонелли, тем меньше оставалось на то, чтобы платить за молчание Стефану. Чем больше отдавал он Стефану, тем меньше шансов оставалось у него избежать неминуемой встречи с Антонелли. Тут он показал себя великим человеком — гением, подобным Наполеону. Вместо того чтобы продолжать борьбу с двумя врагами, он внезапно сдался обоим. Он отступил, словно в японской борьбе, и неприятели пали перед ним. Он объявил о своем намерении прекратить бегство, объявил свой адрес юному Антонелли, а затем объявил, что отдает все, чем владеет, брату. Он отправил Стефану сумму, достаточную для проезда и для того, чтобы обзавестись порядочным гардеробом, и письмо, в котором говорилось примерно следующее: «Вот все, что у меня осталось. Ты начисто меня

обобрал. Но в Норфолке у меня есть небольшой дом со слугами и винным погребом; если ты на что-нибудь еще претендуешь, возьми этот дом. Если хочешь, приезжай и вступи во владение, а я буду скромно жить при тебе как друг, как управляющий или еще как-то». Он знал, что сицилиец никогда не видел ни одного из них, разве что на фотографиях; знал он также и то, что они с братом похожи, у обоих были седые эспаньолки. Затем он начисто обрил подбородок и принялся ждать. Капкан сработал. Злосчастный капитан в новом, с иголочки, наряде торжественно вступил в дом в качестве графа Сарадина и накололся на шпагу сицилийца. Во всем этом плане было только одно непродуманное обстоятельство, и оно делает честь человеческой природе. Злые духи, подобно Сарадину, часто ошибаются, ибо они всегда забывают о людских добродетелях. Он и не думал сомневаться в том, что месть итальянца, подобно свершенному им преступлению, будет безжалостной, безымянной и тайной, что жертва падет бессловесно — либо от ночного удара ножом, либо от выстрела из-за угла. Когда же рыцарственный Антонелли предложил дуэль с соблюдением всех правил, что могло повлечь за собой разоблачение, графу Полю стало страшно.

Тогда-то я и увидел, как он с расширенными от ужаса глазами отчаливает в своем челноке от берега. Он просто бежал, как был, простоволосый, в жалкой лодчонке, в страхе, что Антонелли узнает, кто он. Но, несмотря на свое волнение, он не до конца потерял надежду. На своем веку он знавал достаточно авантюристов и достаточно фанатиков. Вполне возможно, думал он, что авантюрист Стефан будет держать язык за зубами из чисто актерского азарта, из желания сохранить свой новый уютный дом, из веры подлеца в удачу и в свое фехтовальное искусство. Ну, а фанатик Антонелли, конечно, будет держать язык за зубами и так и пойдет на виселицу, не сказав ни слова о семейной тайне. Поль медлил в лодке на реке до тех пор, пока не понял, что дуэль окончена. Тогда он поднял на ноги весь город, вернулся с полицейскими, увидел, как два его поверженных врага навеки исчезли из его жизни и уселся обедать с улыбкой на устах. — С улыбкой? Да он смеялся! — воскликнул Фламбо, содрогаясь. — Кто ему подал такую идею? Сам дьявол, должно быть! — Эту идею подали ему вы, — отвечал священник. — Боже сохрани! — вскричал Фламбо. — Я? Что вы хотите этим сказать? Священник вынул из кармана визитную карточку

и поднес ее к мерцающему огню сигары — она была написана зелеными чернилами. — Разве вы забыли его необычное приглашение? — спросил он — И похвалы вашему преступному подвигу? «Остроумие, с которым вы заставили одного сыщика арестовать другого», — пишет он. Да он просто повторил ваш прием. Когда враги стали наступать на него с двух сторон, он быстро сделал шаг назад, а они столкнулись и уничтожили друг друга. Фламбо вырвал визитную карточку Сарадина из рук священника и с яростью изорвал ее в мелкие клочки. — Покончим с этим старым бандитом, — воскликнул он, швыряя клочки бумаги в темные волны реки, которые были еле видны в темноте. — Однако как бы рыбы от этого не стали дохнуть. Последний клочок белой бумаги, исписанной зелеными чернилами, мелькнул и исчез; слабый, дрожащий свет окрасил, словно напоминая о рассвете, небо, и луна за высокими травами побледнела. Они плыли в молчании. — Отец, — внезапно спросил Фламбо, — как по-вашему, это был сон? Священник покачал головой, то ли в знак отрицания, то ли сомнения, но промолчал. Из темноты к ним долетело благоухание боярышника и фруктовых садов, поднимался ветер; он качнул суденышко, наполнил парус и понес их

вперед по изгибам реки к местам посчастливее, где живут безобидные люди.

МОЛОТ ГОСПОДЕНЬ

Деревенька Боэн Бикон пристроилась на крутом откосе, и высокий церковный шпиль торчал, как верхушка скалы. У самой церкви стояла кузница, обычно пышущая огнем, вокруг нее свалка всевозможных молотков и обрезков железа, а напротив — один на всю деревню кабак «Синий боров». На этом-то перекрестке в свинцово-серебряный рассветный час встретились два брата: один восстал ото сна, а другой еще не ложился. Преподобный и досточтимый Уилфрид Боэн был человек набожный и шел предаться молитве и созерцанию. Его старшему брату, достопочтенному полковнику Норману Боэну, было не до набожности: он сидел в смокинге на лавочке возле «Синего борова» и выпивал не то напоследок, не то для начала — это уж как на чей философский взгляд. Сам полковник в такие тонкости не вдавался. Боэны были настоящие, древние аристократы крови, и предки их и вправду воевали в Палестине. Только не нужно думать, что рыцарями рождаются. Рыцарство — удел бедняков. Знати благородные заветы нипочем, их дело мода. Боэны были элегантными

бандитами при королеве Анне и жеманными вертопрахами при королеве Виктории. Словом, они по примеру других знатных родов за последние два столетия стали порослью пропойц и щеголеватых ублюдков, а был такой шепоток, что и вовсе посвихивались. И то сказать, полковник был сластолюбив не по-людски, а, скорее, по-волчьи: он без устали рыскал по ночам, одержимый какой-то гнусной бессонницей. У этого крупного, породистого пожилого животного были светло-желтые волосы, не тронутые сединой. Его бы назвать белокурым, с львиной осанкой; только синие глаза его запали так глубоко, что стали черными щелками. К тому же они были чересчур близко посажены. Его висячие желтые усы были очерчены косыми складками от ноздрей к подбородку: ухмылка словно врезана в лицо. Поверх смокинга он натянул светлое халатообразное пальто, а странную широкополую шляпу ярко-зеленого цвета и какого-то восточного вида сбил на затылок. Он любил красоваться в нелепых нарядах, тем более что они всегда ему шли. Брат его, как и он, желтоволосый и хранивший аристократическую осанку, был в своем черном облачении, застегнут наглухо и свежевыбрит; в его тонком лице сквозила нервозность. Он словно

бы только и жил что своей религией; но говорили о нем (особенно сектант-кузнец), что не Бог ему нужен, а старинная архитектура, потому-то он, мол, и бродит по церкви призраком, что церковь ему — все равно что брату вино и женщины, та же заразная прелесть, только что изысканная, а в общем, одно и то же. Мало ли что говорили, но набожность его все-таки была неподдельная. Надо думать, что людям попросту невдомек была его тяга к уединению и молитве, странно было вечно видеть его на коленях — и не то что пред алтарем, а где-нибудь на хорах, галереях или вовсе на колокольне. Он как раз и шел в храм задним двором кузницы, но остановился и нахмурился, увидев, куда исподлобья поглядывает брат. Не на церковь, конечно, — это и думать было нечего. Стало быть, на кузницу, и хотя кузнец-пресвитерианин со своей сектантской религией был не из его паствы, все же Уилфрид Боэн слышал про его красавицу жену много разных историй и не мог пройти мимо. Он посмотрел, нет ли кого за сараем, а полковник встал и рассмеялся. — Доброе утро, Уилфрид, — сказал он. — Народ мой спит, а я, видишь, на ногах, как и подобает помещику. Вот кузнеца хочу навестить. Уилфрид опустил взгляд и сказал: — Кузнеца

нет. Он ушел в Гринфорд. — Знаю, — беззвучно хохотнул полковник. — Визит ко времени. — Норман, — сказал священник, упершись взглядом в дорожный гравий, — а ты грома небесного не боишься? — Грома? — переспросил тот, — Ты что, у нас теперь погоду предсказываешь? — Да нет, — сказал Уилфрид, не поднимая глаз, — не погоду, а как бы тебя громом не поразило. — Ах, прошу прощения, — сказал полковник. — Я и забыл, ты ведь у нас сказочник. — А ты у нас, конечно, богохульник, — отрезал задетый за живое священнослужитель. — Что ж, Бога не боишься, так хоть человека остерегись. Старший брат вежливо поднял брови. — Какого то есть человека? — спросил он. — На сорок миль в округе, — жестко сказал священник, — некому тягаться силой с кузнецом Барнсом. Я знаю, ты не из трусливых и за себя постоять можешь, только смотри, плохо тебе придется. Это были отнюдь не пустые слова, и складки у рта полковника обозначились резче. Его вечная ухмылка стала угрюмой. Но он тут же снова обрел свою свирепую веселость и рассмеялся, оскалив из-под желтых усов крепкие песьи клыки. — Ты прав, любезный Уилфрид, — беспечно сказал он, — так порадуйся же, что последний мужчина в нашем роду надел кое-какой ратный

доспех. Он снял свою нелепую шляпу, и ее круглая тулья оказалась легким стальным шлемом в зеленой обшивке, китайским, не то японским. Уилфрид узнал фамильный трофей со стены гостиной. — Какая подвернулась, — небрежно пояснил брат. — У меня со шляпами так же, как и с женщинами. — Сейчас кузнец в Гринфорде, — тихо сказал Уилфрид, — но вернуться может в любую минуту. Он побрел в церковь, склонив голову и крестясь, словно отгоняя нечистого духа. Скорей бы забыть об этой мерзости в прохладном сумраке, под готическими сводами; но в то утро все шло не по-обычному, всюду что-нибудь подстерегало. В такой час церковь всегда была пуста, а тут вдруг кто-то в глубине вскочил с колен и заспешил из полутьмы на залитую светом паперть. Священник едва поверил глазам: этот ранний богомолец был деревенский идиот, племянник кузнеца, и ему явно нечего было делать в церкви, как и вообще на белом свете. Жил он без имени, с прозвищем Джо-дурачок; это был дюжий малый, сутулый и чернявый, лицо тестяное, рот вечно разинут. Он прошагал мимо священника, и по его дурацкой физиономии никак нельзя было понять, что он делал, о чем думал в церкви. В жизни его никто здесь не видел. Что у него могли

быть за молитвы? Даже представить себе трудно. Уилфрид Боэн стоял неподвижно и глядел, как идиот вышел на солнце, потом, как его беспутный брат приветствовал дурачка с издевательским дружелюбием, наконец, как полковник принялся швырять медяки в разинутый рот Джо и, кажется, в самом деле примерялся попасть. От этой яркой уродливой картины земной глупости и грубости он обратился к молитве об очищении своей души и обновлении помыслов. Он углубился в галерею и прошел к любимому цветному витражу с белым ангелом, несущим лилии; этот витраж всегда проливал покой в его душу. Здесь перед его глазами постепенно померкло одутловатое лицо слабоумного с разинутым по-рыбьи ртом. Здесь он постепенно отвлекся от мыслей о нераскаянном брате, который метался, как зверь за решеткой, снедаемый скотской похотью. Там его через полчаса и нашел деревенский сапожник Гиббс, наспех посланный за ним. Он быстро поднялся с колен: он знал, что Гиббс не явился бы ни с того ни с сего. Как во многих деревнях, здешний сапожник в Бога не верил и в церкви бывал не чаще дурачка Джо. Дурачок еще мог забрести невзначай, но появление сапожника сбило бы с толку любого богослова. — В чем де-

ло? — довольно строго спросил Уилфрид Боэн и встревоженно потянулся за шляпой. Местный безбожник ответил на удивление уважительно, с какой-то даже смутной симпатией. — Уж не взыщите, сэр, — сказал он хрипловатым полушепотом, — но мы решили вас потревожить. Тут, в общем, довольно жуткое дело приключилось. Ваш, в общем, брат… Уилфрид с хрустом стиснул руки. — Ну, что он еще натворил? — почти выкрикнул он. — Да как бы вам сказать, сэр, — кашлянув, сказал сапожник. — Он в общем-то ничего такого не сделал… и уж не сделает. Вообще-то, он мертвый. Надо бы вам туда пойти, сэр. Уилфрид спустился следом за сапожником по короткой винтовой лестнице к боковому выходу на пригорок над улицей. Отсюда все было видно как на ладони. Человек пять-шесть стояли во дворе кузницы, почти все в черном, и среди них полицейский инспектор. Был там доктор, был пресвитер и патер из окрестной католической церкви, куда ходила жена кузнеца. Сама она, статная, золотисто-рыжая женщина, заходилась от плача на лавочке, а патер ей что-то вполголоса быстро втолковывал. Посредине, возле груды молотков, простерся ничком труп в смокинге. Уилфрид с первого взгляда узнал все, вплоть

до фамильных перстней на пальцах; но вместо головы был кровавый сгусток, запекшийся черно-алой звездой. Уилфрид Боэн, не мешкая, кинулся вниз по ступенькам. Доктор был их семейным врачом, но Уилфрид не ответил на его поклон. Он еле выговорил: — Брата убили. Что здесь было? Как ужасно, как непонятно… Все неловко молчали, и только сапожник высказался с обычной прямотой: — Ужасно — это да, сэр, только чего тут непонятного, все понятно. — Что понятно? — спросил Уилфрид, и лицо его побелело. — Куда уж яснее, — отвечал Гиббс. — На сорок миль в округе только одному под силу эдак пристукнуть человека. А почему пристукнул — опять же ясно. — Не будем судить раньше времени, — нервно перебил его высокий, чернобородый доктор, — Впрочем, что касается удара, то мистер Гиббс прав удар поразительный. Мистер Гиббс говорит, что это только одному под силу. Я бы сказал, что это никому не под силу. Маленький священник вздрогнул от суеверного ужаса. — Не совсем понимаю, — сказал он. — Мистер Боэн, — вполголоса сказал доктор, — извините за такое сравнение, но череп попросту раскололся, как яичная скорлупа. И осколки врезались в тело и в землю, словно шрапнель. Это удар исполина. Он чуть помолчал,

выразительно поглядел сквозь очки и добавил: — Хотя бы лишних подозрений быть не может. Обвинять в этом преступлении меня или вас, вообще любого заурядного человека — все равно что думать, будто ребенок утащил мраморную колонну. — А я что говорю? — поддакнул сапожник. — Я и говорю, что кто пристукнул, тот и пристукнул. А где кузнец Симеон Барнс? — Но он же в Гринфорде, — выдавал священник. — Если не во Франции, — буркнул сапожник. — Нет, он и не в Гринфорде, и не во Франции, — раздался нудный голосок, и коротышка патер подошел к ним. — Собственно говоря, вот он идет сюда. На толстенького патера, на его невзрачную физиономию и темно-русые, дурно обстриженные волосы и так-то особенно глядеть было незачем, но тут уж никто бы на него не поглядел, будь он хоть прекрасней Аполлона. Все как один повернулись и уставились на дорогу, которая вилась через поле по склону и по которой в самом деле вышагивал кузнец Симеон с молотом на плече. Был он широченный, ширококостный, темная борода клином, темный взгляд исподлобья. Он неспешно беседовал с двумя своими спутниками; веселым его вообще не видели, и сейчас он был не мрачнее обычного. — Господи! — вырвалось

у неверующего сапожника. — И с тем же самым молотом! — Нет, — вдруг промолвил инспектор, рыжеусый человек смышленого вида, — тот самый — вон там, у церковной стены. Лежит как лежал, мы не трогали ни труп, ни молоток. Все обернулись к церкви, а низенький патер сделал несколько шагов и, склонившись, молча оглядел орудие убийства. Это был совсем неприметный железный молоточек, только на окровавленной насадке желтел налипший клок волос. Потом он заговорил, и тусклый голосок его словно бы немного оживился: — Мистер Гиббс, пожалуй, зря думает, что здесь все понятно. Вот, например, как же это такой великан схватился за этакий молоточек? — Было бы о чем говорить, — нетерпеливо отмахнулся Гиббс. — Чего зря стоим, вон Симеон Барнс! — Вот и подождем, — ответил коротышка. — Он как раз сюда идет. Спутников его я знаю, они из Гринфорда, люди хорошие, пришли по своим пресвитерианским делам. В это самое время рослый кузнец обогнул собор и оказался у себя во дворе. Тут он встал, как вкопанный, и обронил молот. Инспектор, сохраняя должную непроницаемость, сразу шагнул к нему. — Не спрашиваю вас, мистер Барнс, — сказал он, — известно ли вам, что здесь произошло. Вы не обязаны отве-

чать. Надеюсь, что неизвестно и что вы сможете это доказать. А пока что я должен, как положено, арестовать вас именем короля по обвинению в убийстве полковника Нормана Боэна. — Не обязан ты им ничего отвечать! — в восторге от законности подхватил сапожник. — Это они обязаны доказывать. А как они докажут, что это полковник Боэн, когда у него вместо головы невесть что? — Ну, это уж слишком, — заметил доктор священнику-коротышке. — Это уж для детективного рассказа. Я лечил полковника и знал его тело вдоль и поперек лучше, чем он сам. У него были очень изящные и весьма странные руки. Указательный и средний пальцы одинаковой длины. Да нет, конечно же, это полковник. Он посмотрел на труп с размозженным черепом; тяжелый взгляд неподвижного кузнеца обратился туда же. — Полковник Боэн умер, — спокойно сказал он. — Стало быть, он в аду. — Ты, главное дело, молчи! Пусть они говорят! — выкрикивал сапожник, приплясывая от восхищения перед английской законностью. Никто так не ценит закон, как завзятый безбожник. Кузнец бросил ему через плечо с высокомерием фанатика: — Это вам, нечестивцам, надо юлить по-лисьи, ибо ваш закон в мире сем. Господь Сам хранит

и сберегает верных Своих, да узрите нынче воочию. — И, указав на мертвеца, добавил: — Когда этот пес умер во гресех своих? — Выбирайте выражения, — сказал доктор. — Я их выбираю из Библии. Когда он умер? — Сегодня в шесть утра он был еще жив, — запинаясь, выговорил Уилфрид Боэн. — Велика благость Господня, — сказал кузнец. — Давайте, инспектор, забирайте меня на свою же голову. Мне-то что, меня по суду наверняка оправдают, а вот вас за такую службу наверняка не похвалят. Степенный инспектор поглядел на кузнеца слегка озадаченно, как и все прочие, кроме чудака-священника, который все разглядывал смертоносный молоток. — Вон там стоят двое, — веско продолжал кузнец, — два честных мастеровых из Гринфорда, да вы все их знаете. Они присягнут, что я никуда не отлучался с полуночи: у нас было собрание общины, и мы радели о спасении души всю ночь напролет. В самом Гринфорде найдется еще человек двадцать свидетелей. Был бы я язычник, мистер инспектор, я бы и глазом не моргнул — пусть вам будет хуже. Но я христианин и обязан вас пожалеть, а потому сами решайте, когда хотите слушать моих свидетелей, — сейчас или на суде. Инспектор, видимо, озадачился всерьез и сказал: — Разумеется, лучше

бы отвести подозрения с самого начала. Кузнец пошел со двора тем же ровным, широким шагом и привел своих друзей, и вправду всем хорошо знакомых. Много говорить им не пришлось. Через несколько слов невиновность Симеона была так же очевидна, как и громада храма. Воцарилось то особое молчание, которое нестерпимей всяких слов. Чтобы сказать хоть что-нибудь, Уилфрид Боэн бессмысленно заметил католическому священнику: — Вас явно очень занимает этот молоток, отец Браун. — Да, очень, — сказал отец Браун. — Почему он такой маленький? Доктор вдруг дернулся к нему. — А ведь верно! — воскликнул он. — Кто возьмет такой молоток, когда кругом столько больших? Он понизил голос и сказал на ухо Уилфриду: — Тот, кому большой не с руки. Мужчины вовсе не тверже и не отважнее женщин. У них всего-навсего сильнее плечи. Отчаянная женщина запросто пришибет таким молотком десять человек, а тяжелым молотом ей и жука не убить. Уилфрид Боэн в ужасе уставился на него, а отец Браун внимательно прислушивался, склонив голову набок. Врач продолжал еще тише и еще настойчивее: — Какой идиот выдумал, что любовника ненавидит именно обманутый муж? В девяти случаях из десяти его

ненавидит сама обманщица-жена. Почем знать, как он ее предал, как оскорбил? Взгляните! Он коротким кивком указал на скамью, где сидела пышноволосая женщина. Теперь она подняла голову, и слезы высыхали на ее миловидном лице. Она не сводила взгляда с мертвеца, и в ее глазах был какой-то неистовый блеск. Преподобный Уилфрид Боэн провел рукой перед глазами, словно заслоняясь, а отец Браун стряхнул с рукава хлопья золы, налетевшей из кузни, и занудил на свой лад. — Вот ведь как оно выходит, — сказал он, — что у вас, что у других врачей: пока про душу — все очень складно, а как до тела дойдет, то ни в какие ворота. Спору нет, преступница всегда хочет убить сообщника, а потерпевший — не всегда. И нет спору, что женщине больше с руки молоток, чем молот. Все так. Только она никак не могла этого сделать. Ни одной женщине на свете не удастся эдак разнести череп молотком. — Он поразмыслил и продолжал: — Кое-что покамест и вообще в расчет не принято. Мертвец-то был в железном шлеме, и шлем разлетелся, как стеклышко. И это, по-вашему, сделала вон та женщина, с ее-то ручками? Они снова погрузились в молчание. Наконец доктор проворчал: — Может, я и ошибаюсь: возражения в конце кон-

цов на все найдутся. Одно, по-моему, бесспорно: только идиот схватит молоточек, когда рядом валяется молот. Уилфрид Боэн судорожно вскинул тощие руки ко лбу и взъерошил свои жидкие светлые волосы. Потом отдернул ладони от лица и вскрикнул: — Слово, вы мне как раз подсказали слово! — Он продолжал, кое-как одолевая волнение: — Вы сказали: «Только идиот схватит молоточек». — Ну да, — сказал доктор. — А что? — Это и был идиот, — проговорил настоятель собора. Чувствуя, что к нему прикованы все взгляды, он продолжал чуть ли не истерично: — Я священник, захлебывался он, — а священнику не пристало проливать кровь… То есть я… мы не вправе отправлять людей на виселицу. Слава Богу, я вот теперь понял, кто преступник, и, слава Богу, казнь ему не грозит. — То есть вы поняли и промолчите? — спросил доктор. — Я не промолчу, но его не повесят, — отвечал Уилфрид с какой-то блуждающей улыбкой. — Нынче утром я вошел в храм, а там молился наш дурачок, бедный Джо, он слабоумный от рождения. Бог знает, о чем он молился: у сумасшедших, у них ведь все навыворот, и молитвы, наверное, тоже. Помолится — и пойдет убивать. Я видел, как мой брат донимал беднягу Джо, издевался над ним. —

Так-так! — заинтересовался доктор. — Вот это уже разговор. Да, но как же вы объясните… Уилфрид Боэн прямо трепетал — наконец-то для него все разъяснилось. — Понимаете, понимаете, — волновался он, — ведь тогда долой все странности, обе загадки разрешаются! И маленький молоток, и страшный удар. Кузнец мог бы так ударить, но не этим же молотком. Жена взяла бы этот молоток, но где же ей так ударить? А если сумасшедший — то все понятно. Молоток он схватил, какой попался. А насчет силы… известно же, — правда, доктор? что в припадке безумия силы удесятеряются. — Ах, будь я проклят! — выдохнул доктор. — Да, ваша правда. А отец Браун смотрел на Боэна долгим, пристальным взглядом, и стало заметно, как выделяются на его невзрачном лице большие круглые серые глаза. Он сказал вслед за доктором как-то особенно почтительно: — Мистер Боэн, из всех объяснений только ваше сводит концы с концами. Потому-то я и скажу вам напрямик: оно неверное, и я это твердо знаю. Затем чудной человечек отошел в сторону и снова стал рассматривать молоток. — Всезнайку из себя корчит, — сердито прошептал доктор Уилфриду. — Уж эти мне католические попы: хитрющий народ! — Нет, нет, — твердил, как за-

веденный, Боэн. — Дурачок его убил. Дурачок его убил. Два священника и доктор стояли в стороне от служителя закона и арестованного, и когда их разговор прервался, стал слышен зычный голос кузнеца: — Ну, вроде мы с вами договорились, мистер инспектор. Сила у меня есть, это вы верно, только и мне не под силу зашвырнуть сюда молот из Гринфорда. Молот у меня без крыльев, как же он полетит за полмили над полями да околицами? Инспектор дружелюбно рассмеялся и сказал: — Нет, ваше дело чистое, хотя сходится все, конечно, на редкость. Попрошу вас только оказывать всяческое содействие в отыскании человека вашего роста и вашей силы. Да чего там! Хоть поможете его задержать. Сами-то вы ни на кого не подумали? — Подумать подумал, — сурово сказал кузнец, — только виновника-то зря ищете. — Он заметил, что кое-кто испуганно поглядел на его жену, шагнул к скамейке и положил ручищу ей на плечо. — И виновницы не ищите. — Кого же тогда искать? — ухмыльнулся инспектор. — Не корову же — где ей с молотком управиться? — Не из плоти была рука с этим молотком, — глухо сказал кузнец, — по-вашему говоря, он сам умертвился. Уилфрид подался к нему, и глаза его вспыхнули. — Это как же,

Барнс, — съязвил сапожник, — ты что же, думаешь, молот сам его пристукнул? — Смейтесь и насмехайтесь, — выкрикнул кузнец, — смейтесь, священнослужители, даром что вы же по воскресеньям повествуете, как Господь сокрушил Сеннахирима. Он во всяком дому, и призрел мой дом, и поразил осквернителя на пороге его. Поразил с той самой силою, с какою Он сотрясает землю. — Я сегодня грозил Норману громом небесным, — сдавленно проговорил Уилфрид. — Ну, этот подследственный не в моем ведении, — усмехнулся инспектор. — Зато вы в Его ведении, — отрезал кузнец, — не забывайте об этом. — И пошел в дом, обратив к собравшимся могучую спину. Потрясенного Уилфрида заботливо взял под руку отец Браун. — Уйдемте куда-нибудь с этого страшного места, мистер Боэн, — говорил он. Покажите мне, пожалуйста, вашу церковь. Я слышал, она чуть ли не самая древняя в Англии. А мы, знаете, — он шутливо подмигнул, — интересуемся древнеангликанскими церквами. Шуток Уилфрид не ценил и шутить не умел, но показать церковь согласился охотно: он рад был поговорить о красотах готики с человеком, понимающим в ней все-таки побольше, чем сектант-кузнец и сапожник-ате-

ист. — Да-да, — сказал он, — пойдемте, вот здесь. Он повел отца Брауна к высокому боковому крыльцу, но едва тот поставил ногу на первую ступеньку, как кто-то взял его сзади за плечо. Отец Браун обернулся и оказался лицом к лицу с худым смуглым доктором, который глядел темно и подозрительно. — Вот что, сэр, — резко сказал врач, — вид у вас такой, будто вы тут кое в чем разобрались. Вы что же, позвольте спросить, решили помалкивать про себя? — Понимаете, доктор, — дружелюбно улыбнулся отец Браун, — есть ведь такое правило: не все знаешь — так и молчи, тем более что в нашем-то деле положено молчать, именно когда знаешь все. Но если вам кажется, что я обидел вас или не только вас своими недомолвками, то я, пожалуй, — сделаю вам два очень прозрачных намека. — Слушаю вас, — мрачно откликнулся врач. — Во-первых, — сказал отец Браун, — это дело вполне по вашей части. Никакой мистики, сплошная наука. Кузнец не в том ошибся, что преступника настигла кара свыше, — это-то да, только уж никаким чудом здесь и не пахнет. Нет, доктор, никакого особого чуда здесь нет, разве что чудо — сам человек, его непостижимое, грешное, дерзновенное сердце. Череп-то раздробило самым естествен-

ным образом, по закону природы, ученые его на каждом шагу поминают. Доктор пристально и хмуро глядел на него. — Второй намек? — спросил он. — Второй намек такой, — сказал отец Браун. — Помните: кузнец, он в чудеса-то верит, а сказок дурацких не любит — как, дескать, его молот полетит, раз он без крыльев? — Да,- сказал доктор. — Это я помню. — Так вот, — широко улыбнулся отец Браун, — эта дурацкая сказка ближе всего к правде. И он засеменил по ступенькам вслед за настоятелем. Уилфрид Боэн нетерпеливо поджидал его, бледный до синевы, словно эта маленькая задержка его доконала; он сразу повел гостя в свою любимую галерею, под самый свод, в сияющую сень витража с ангелом. Маленький патер осматривал все подряд и всем неумолчно, хоть и негромко, восхищался. Он обнаружил боковой выход на винтовую лестницу, по которой Уилфрид спешил вниз к телу брата; отец Браун, однако, с обезьяньей прытью кинулся не вниз, а наверх, и вскоре его голос донесся с верхней наружной площадки. — Идите сюда, мистер Боэн, — позвал он. — Вам хорошо подышать воздухом! Боэн поднялся и вышел на каменную галерейку, балкончик, лепившийся у стены храма. Вокруг одинокого холма расстила-

лась бескрайняя равнина, усеянная деревнями и фермами; лиловый лес густел на горизонте. Далеко-далеко внизу рисовался четкий квадратик двора кузни, где все еще что-то записывал инспектор и, как прибитая муха, валялся неубранный труп. — Вроде карты мира, правда? — сказал отец Браун. — Да, — очень серьезно согласился Боэн и кивнул. Под ними и вокруг них готические стены рушились в пустоту, словно призывали к самоубийству. В средневековых зданиях есть такая исполинская ярость — на них отовсюду смотришь, как на круп бешено мчащейся лошади. Собор составляли древние, суровые камни, поросшие лишайниками и облепленные птичьими гнездами. И все же снизу казалось, что стены фонтаном взмывают к небесам, а оттуда, сверху, — что они водопадом низвергаются в звенящую бездну. Два человека на башне были пленниками неимоверной готической жути: все смещено и сплющено, перспектива сдвинута, большое уменьшено, маленькое увеличено — окаменелый мир наизнанку, повисший в воздухе. Громадные каменные завитки — и мелкий рисунок крохотных ферм и лугов. Изваяния птиц и зверей, словно драконы, парящие или ползущие над полями и селами. Все было страшно и

невероятно, будто они стояли между гигантских крыл парящего над землей чудища. Старая соборная церковь надвинулась на солнечную долину, как грозовая туча. — По-моему, на такой высоте и молиться-то опасно, — сказал отец Браун. Глядеть надо снизу вверх, а не сверху вниз. — Вы думаете, здесь так уж опасно? — спросил Уилфрид. — Я думаю, отсюда опасно падать — упасть ведь может не тело, а душа, ответил маленький патер. — Я что-то вас не очень понимаю, — пробормотал Уилфрид. — Взять хоть того же кузнеца, — невозмутимо сказал отец Браун. — Хороший человек, жаль, не христианин. Вера у него шотландская — так веровали те, кто молился на холмах и скалах и смотрел вниз, на землю, чаще, чем на небеса. А величие — дитя смирения. Большое видно с равнины, а с высоты все кажется пустяками. — Но ведь он, он не убийца, — выговорил Боэн. — Нет, — странным голосом сказал отец Браун. — мы знаем, что убийца не он. Он помолчал и продолжил, светло-серые глаза его были устремлены вдаль. — Я знал человека, — сказал он, — который сперва молился со всеми у алтаря, а потом стал подниматься все выше и молиться в одиночку — в уголках, галереях, на колокольне или у шпиля. Мир вращался, как колесо, а он

стоял над миром: у него закружилась голова, и он возомнил себя Богом. Хороший он был человек, но впал в большой грех. Уилфрид глядел в сторону, но его худые руки, вцепившиеся в парапет, стали иссиня-белыми. — Он решил, что ему дано судить мир и карать грешников. Если 6 он стоял внизу, на коленях, рядом с другими — ему бы это и в голову не пришло. Но он глядел сверху — и люди казались ему насекомыми. Ползало там одно ярко-зеленое, особенно мерзкое и назойливое, да к тому же и ядовитое. Стояла тишина, только грачи кричали у колокольни; и снова послышался голос отца Брауна: — К вящему искушению, во власти его оказался самый страшный механизм природы — сила, с бешеной быстротой притягивающая все земное к земному лону. Смотрите, вон прямо под нами расхаживает инспектор. Если я кину отсюда камушек, камушек ударит в него пулей. Если я оброню молоток… или молоточек… Уилфрид Боэн перекинул ногу через парапет, но отец Браун оттянул его назад за воротник. — Нет, — сказал он. — Это выход в ад. Боэн попятился и припал к стене, в ужасе глядя на него. — Откуда вы все это знаете? — крикнул он, — Ты дьявол? — Я человек, — строго ответил отец Браун, — и значит, вместилище

всех дьяволов. — Он помолчал. — Я знаю, что вы сделали — вернее, догадываюсь почти обо всем. Поговорив с братом, вы разгорелись гневом — не скажу, что неправедным, — и схватили молоток, почти готовые убить его за его гнусные слова. Но вы отпрянули перед убийством, сунули молоток за пазуху и бросились в церковь. Вы отчаянно молились — у окна с ангелом, потом еще выше, еще, и потом здесь — и отсюда увидели, как внизу шляпа полковника ползает зеленой тлей. В душе вашей что-то надломилось, и вы обрушили на него гром небесный. Уилфрид прижал ко лбу дрожащую руку и тихо спросил: — Откуда вы знаете про зеленую тлю? По лицу отца Брауна мелькнула тень улыбки. — Да это как-то само собой понятно, — сказал он. — Слушайте дальше. Мне все известно, но никто другой не узнает ничего, вам самому решать, я отступаюсь и сохраню эту тайну, как тайну исповеди. Тому много причин, и лишь одна вас касается. Решайте, ибо вы еще не стали настоящим убийцей, не закоснели во зле. Вы боялись, что обвинят кузнеца, боялись, что обвинят его жену. Вы попробовали свалить все на слабоумного, зная, что ему ничто не грозит. Мое дело замечать такие проблески света в душе убийцы. Спускайтесь в деревню и поступайте,

как знаете; я сказал вам свое последнее слово. Они в молчании спустились по винтовой лестнице и вышли на солнце к кузнице. Уилфрид Боэн аккуратно отодвинул засов деревянной калитки, подошел к инспектору и сказал: — Прошу вас меня арестовать. Брата убил я.

ОКО АПОЛЛОНА

Таинственная спутница Темзы, искрящаяся дымка, и ллотная, и прозрачная сразу, светлела и сверкала все больше по мере того, как солнце поднималось над Вестминстером, а два человека шли по Вестминстерскому мосту. Один был высокий, другой — низенький, и мы, повинуясь причуде фантазии, могли бы сравнить их с гордой башней парламента и со смиренным, сутулым аббатством, тем более что Низкорослый был в сутане. На языке же документов высокий звался Эркюлем Фламбо, занимался частным сыском и направлялся в свою новую контору, расположенную в новом многоквартирном доме напротив аббатства; а маленький звался отцом Дж. Брауном, служил в церкви св. Франциска Ксаверия и, причастив умирающего, прибыл из Камберуэла, чтобы посмотреть контору своего друга. Дом, где она помещалась, был высок, словно американский небоскреб, и по-американски оснащен

безотказными лифтами и телефонами. Его только что достроили, заняты были три квартиры — над Фламбо, под Фламбо и его собственная; два верхних и три нижних этажа еще пустовали. Но тот, кто смотрел впервые на свежевыстроенную башню, удивлялся не этому. Леса почти совсем убрали, и на голой стене, прямо над окнами Фламбо, сверкал огромный, окна в три, золоченый глаз, окруженный золотыми лучами. — Господи, что это? — спросил отец Браун и остановился. — А, новая вера! — засмеялся Фламбо. — Из тех, что отпускают нам грехи, потому что мы вообще безгрешны. Что-то вроде «Христианской науки». Надо мной живет некий Калон (это он себя так называет, фамилий таких нет!). Внизу, подо мной, — две машинистки, а наверху — этот бойкий краснобай. Он, видите ли, новый жрец Аполлона, солнцу поклоняется. — Посмотрим на него, посмотрим… — сказал отец Браун. — Солнце было жестоким божеством. А что это за страшный глаз? — Насколько я понял, — отвечал Фламбо, — у них такая теория. Крепкий духом вынесет что угодно. Символы их — солнце и огромный глаз. Они говорят, что истинно здоровый человек может прямо смотреть на солнце. — Здоровому человеку, — заметил отец Браун, — это и в голову

не придет. — Ну, я что знал, то сказал, — беспечно откликнулся Фламбо. — Конечно, они считают, что их вера лечит все болезни тела. — А лечит она единственную болезнь духа? — серьезно и взволнованно спросил отец Браун. — Что же это за болезнь? — улыбнулся Фламбо. — Уверенность в собственном здоровье, — ответил священник. Тихая, маленькая контора больше привлекала Фламбо, чем сверкающее святилище. Как все южане, он отличался здравомыслием, вообразить себя мог лишь католиком или атеистом и к новым религиям — победным ли, призрачным ли — склонности не питал. Зато он питал склонность к людям, особенно — к красивым, а дамы, поселившиеся внизу, были еще и своеобразны. Там жили две сестры, обе — худые и темноволосые, одна к тому же — высокая ростом и прекрасная лицом. Профиль у нее был четкий, орлиный; таких, как она, всегда вспоминаешь в профиль, словно они отточенным клинком прорезают путь сквозь жизнь. Глаза ее сверкали скорее стальным, чем алмазным, блеском, и держалась она прямо, так прямо, что, несмотря на худобу, изящной не была. Младшая сестра, ее укороченная тень, казалась тусклее, бледнее и незаметней. Обе носили строгие черные платья

с мужскими манжетами и воротничками. В лондонских конторах — тысячи таких резковатых, энергичных женщин; но этих отличало не внешнее, известное всем, а истинное их положение. Полина Стэси, старшая сестра, унаследовала герб, земли и очень много денег. Она росла в садах и замках, но, по холодной пылкости чувств, присущей современным женщинам, избрала иную, высшую, нелегкую жизнь. От денег она, однако, не отказалась — этот жест, достойный монахов и романтиков, претил ее трезвой деловитости. Деньги были ей нужны, чтобы служить обществу. Она открыла контору — как бы зародыш образцового машинного бюро, а остальное раздала лигам и комитетам, борющимся за то, чтобы женщины занимались именно такой работой. Никто не знал, в какой мере младшая, Джоан, разделяет этот несколько деловитый идеализм. Во всяком случае за своей сестрой и начальницей она шла с собачьей преданностью, более приятной все же, чем твердость и бодрость старшей, и даже немного трагичной. Полина Стэси трагедий не знала; по-видимому, ей казалось, что их и не бывает. Когда Фламбо встретил свою соседку впервые, сухая ее стремительность и холодный пыл сильно его позабавили. Он ждал внизу лиф-

тера, который развозил жильцов по этажам. Но девушка с соколиными глазами ждать не пожелала. Она резко сообщила, что сама разбирается в лифтах и не зависит от мальчишек, а кстати — и от мужчин. Жила она невысоко, но за считанные секунды довольно полно ознакомила сыщика со своими воззрениями, сводившимися к тому, что она — современная деловая женщина и любит современную, дельную технику. Ее черные глаза сверкали холодным гневом, когда она помянула тех, кто науку не ценит и вздыхает по ушедшей романтике. Каждый, говорила она, должен управлять любой машиной, как она управляет лифтом. Она чуть не вспыхнула, когда Фламбо открыл перед ней дверцу; а он поднялся к себе, вспоминая с улыбкой о такой взрывчатой самостоятельности. Действительно, нрав у нее был пылкий, властный, раздражительный, и худые тонкие руки двигались так резко, словно она собиралась все разрушить. Как-то Фламбо зашел к ней, хотел что-то напечатать, и увидел, что она швырнула на пол сестрины очки и давит их ногой. При этом она обличала «дурацкую медицину» и слабых, жалких людей, которые ей поддаются. Она кричала, чтобы сестра и не думала больше таскать домой всякую дрянь. Она

вопрошала, не завести ли ей парик, или деревянную ногу, или стеклянный глаз; и собственные ее глаза сверкали стеклянным блеском. Пораженный такой нетерпимостью Фламбо не удержался и, рассудительный, как все французы, спросил ее, почему очки — признак слабости, а лифт — признак силы. Если наука вправе помогать нам, почему ей не помочь и на сей раз? — Что тут общего! — надменно ответила Полина. — Да, мсье Фламбо, машины и моторы — признак силы. Техника пожирает пространство и презирает время. Все люди — и мы, женщины, — овладевают ею. Это возвышенно, это прекрасно, это — истинная наука. А всякие подпорки и припарки — отличительный знак малодушных! Доктора подсовывают нам костыли, словно мы родились калеками или рабами. Я не рабыня, мсье Фламбо. Люди думают, что все это нужно, потому что их учат страху, а не смелости и силе. Глупые няньки не дают детям смотреть на солнце, а потом никто и не может прямо на него смотреть. Я гляжу на звезды, буду глядеть и на эту. Солнце мне не хозяин, хочу — и смотрю! — Ваши глаза ослепят солнце, — сказал Фламбо, кланяясь с иностранной учтивостью. Ему нравилось говорить комплименты этой странной, колючей красави-

це, отчасти потому, что она немного терялась. Но, поднимаясь на свой этаж, он глубоко вздохнул, присвистнул и проговорил про себя: «Значит, и она попала в лапы к этому знахарю с золотым глазом…» Как бы мало он ни знал о новой религии, как бы мало ею ни интересовался, о том, что адепты ее глядят на солнце, он все же слышал. Вскоре он заметил, что духовные узы между верхней и нижней конторой становятся все крепче. Тот, кто именовал себя Калоном, был поистине великолепен, как и подобает жрецу солнечного бога. Он был ненамного ниже Фламбо, но гораздо красивее. Золотой бородой, синими глазами, откинутой назад львиной гривой он походил как нельзя больше на белокурую бестию, воспетую Ницше, но животную его красоту смягчали, возвышали, просветляли мощный разум и сила духа. Он походил на саксонского короля, но такого, который прославился святостью. Этому не мешала деловая, будничная обстановка — контора в многоэтажном доме на Виктория-стрит, аккуратный и скучный клерк в приемной, медная табличка, золоченый глаз вроде рекламы окулиста. И тело его и душа сияли сквозь пошлость властной, вдохновенной силой. Всякий чувствовал при нем, что это — не мошенник, а мудрец. Даже в

просторном полотняном костюме, который он носил в рабочие часы, он был необычен и величав. Когда же он славословил солнце в белых одеждах, с золотым обручем на голове, он был так прекрасен, что толпа, собравшаяся поглазеть на него, внезапно умолкала. Каждый день, три раза, новый солнцепоклонник выходил на небольшой балкон и перед всем Вестминстером молился своему сверкающему господину — на рассвете, в полдень и на закате. Часы еще не пробили двенадцать раз на башне парламента, колокола еще не отзвонили, когда отец Браун, друг Фламбо, впервые увидел белого жреца, поклонявшегося Аполлону. Фламбо его видел не впервые и скрылся в высоком доме, не поглядев, идет ли за ним священник; а тот — из профессионального интереса к обрядам или из личного, очень сильного интереса к шутовству — загляделся на жреца, как загляделся бы на кукольный театр. Пророк, именуемый Калоном, в серебристо-белых одеждах стоял, воздев кверху руки, и его на удивление властный голос, читающий литанию, заполнял суетливую, деловитую улицу. Вряд ли солнечный жрец что-нибудь видел; во всяком случае, он не видел маленького круглолицего священника, который, помаргивая, глядел на него из толпы.

Наверное, это и отличало друг от друга таких непохожих людей: отец Браун мигал всегда, на что бы ни смотрел; служитель Аполлона смотрел, не мигая, на полуденное солнце. — О, солнце! — возглашал пророк. — Звезда, величайшая из всех звезд! Источник, безбурно струящийся в таинственное пространство! Ты, породившее всякую белизну — белое пламя, белый цветок, белый гребень волны! Отец невиннейший невинных и безмятежных детей, первозданная чистота, в чьем покое… Что-то страшно затрещало, словно взорвалась ракета, и сразу же раздались пронзительные крики. Пять человек кинулись в дом, трое выбежали, и, столкнувшись, они оглушили друг друга громкой, сбивчивой речью. Над улицей повисла несказанная жуть, страшная весть, особенно страшная от того, что никто не знал, в чем дело. Все бегали и кричали, только двое стояли тихо: наверху — прекрасный жрец Аполлона, внизу — неприметный служитель Христа. Наконец в дверях появился Фламбо, могучий великан, и небольшая толпа присмирела. Громко, как сирена в тумане, он приказал кому-то (или кому угодно) бежать за врачом и снова исчез в темном, забитом людьми проходе, а друг его, отец Браун, незаметно скользнул за ним. Ныряя

сквозь толпу, он слышал глубокий, напевный голос, взывавший к радостному богу, другу цветов и ручейков. Добравшись до места, священник увидел, что Фламбо и еще человек пять стоят у клетки, в которую обычно спускался лифт. Но его там не было. Там была та, которая обычно спускалась в лифте. Фламбо уже четыре минуты глядел на размозженную голову и окровавленное тело красавицы, не признававшей трагедий. Он не сомневался, что это Полина Стэси, и, хотя послал за доктором, не сомневался, что она мертва. Ему никак не удавалось вспомнить, нравилась она ему или нет; скорее всего, она и привлекала его, и раздражала. Но он о ней думал; и невыносимо трогательный образ ее привычек и повадок пронзил его сердце крохотными кинжалами утраты. Он вспомнил ее нежное лицо и уверенные речи с той поразительной четкостью, в которой — вся горечь смерти. Мгновенно, как гром с ясного неба, как молния с высоты, прекрасная, гордая женщина низринулась в колодец лифта и разбилась о дно. Что это, самоубийство? Нет, она слишком дерзко любила жизнь. Убийство? Кому же убить в полупустом доме? Хрипло и сбивчиво стал он спрашивать, где же этот Калон, и вдруг понял, что слова его не грозны, а жалобны. Ти-

хий, ровный, глубокий голос ответил ему, что Калон уже четверть часа славит солнце у себя на балконе. Когда Фламбо услышал этот голос и ощутил руку на плече, он обратил к другу потемневшее лицо и резко спросил: — Если его нет, кто же это сделал? — Пойдем наверх, — сказал отец Браун. — Может, там узнаем. Полиция придет только через полчаса. Препоручив врачам тело убитой, Фламбо кинулся в ее контору, никого не увидел и побежал к себе. Теперь он был очень бледен. — Ее сестра, — сказал он другу с недоброй значительностью, — пошла погулять. Отец Браун кивнул. — Или поднялась к этому солнечному мужу, — предположил он. — Я бы на вашем месте это проверил, а уж потом мы все обсудим тут, у вас. Нет! спохватился он. — Когда же я поумнею? Конечно, там, у них. Фламбо ничего не понял, взглянул на него, но покорно проводил его в пустую контору. Загадочный пастырь сел в красное кожаное кресло у самого входа, откуда были видны и лестница, и все три площадки, и стал ждать. Вскоре по лестнице спустились трое, все — разные, все — одинаково важные. Первой шла Джоан, сестра покойной; значит, она и впрямь была наверху, во временном святилище солнца. Вторым шел солнечный жрец, завершивший

славословия и спускавшийся по пустынным ступеням во всей своей славе; белым одеянием, бородой и расчесанной на две стороны гривой он напоминал Христа, выходящего из претории, с картины Доре. Третьим шел мрачный, озадаченный Фламбо. Джоан Стэси — хмурая и смуглая, седеющая раньше времени, направилась к своему столу и деловито шлепнула на него бумаги. Все очнулись. Если мисс Джоан и была убийцей, хладнокровие ей не изменило. Отец Браун взглянул на нее и, не отводя от нее глаз, обратился не к ней. — Пророк, — сказал он, по-видимому, Калону, — я бы хотел, чтобы вы поподробнее рассказали мне о своей вере. — С превеликой гордостью, — отвечал Калон, склоняя увенчанную голову. — Но я не совсем вас понимаю… — Дело вот в чем, — простодушно и застенчиво начал священник. — Нас учат, что если у кого-нибудь плохие, совсем плохие принципы, он в этом и сам виноват. Но все же мы меньше спросим с того, кто замутнил совесть софизмами. Считаете ли вы, что убивать нельзя? — Это обвинение? — очень спокойно спросил Калон. — Нет, — мягко ответил Браун, — это защита. Все удивленно молчали. Жрец Аполлона поднялся медленно, как само солнце. Он заполнил комнату светом и силой,

и казалось, что точно так же он заполнял бы Солсбери-Плейн. Всю комнату украсили белые складки его одежд, рука величаво простерлась вдаль, и маленький священник в старой сутане стал нелепым и неуместным, словно черная, круглая клякса на белом мраморе Эллады. — Мы встретились, Кайафа! — сказал пророк. — Кроме вашей церкви и моей, нет ничего на свете. Я поклоняюсь солнцу, вы — мраку. Вы служите умирающему, я — живому богу. Вы подозреваете меня, выслеживаете, как и велит вам ваша вера. Все вы — ищейки и сыщики, злые соглядатаи, стремящиеся пыткой или подлостью вырвать у нас покаяние. Вы обвините человека в преступности, я обвиню его в невинности. Вы обвините его в грехе, я — в добродетели. Еще одно я скажу вам, читатель черных книг, прежде чем опровергнуть пустые, мерзкие домыслы. И в малой мере не понять вам, как безразличен мне ваш приговор. То, что вы зовете бедой и казнью, для меня — как чудище из детской сказки для взрослого человека. Мне так безразлично марево этой жизни, что я сам себя обвиню. Против меня есть одно свидетельство, и я назову его. Женщина, умершая сейчас, была мне подругой и возлюбленной — не по закону ваших игрушечных молелен, а по

закону, который так чист и строг, что вам его не понять. Мы пребывали с ней в ином, не вашем мире, в сияющих чертогах, пока вы шныряли по тесным, запутанным проулкам. Я знаю, стражи порядка — и обычные, и церковные — считают, что нет любви без ненависти. Вот вам первый повод для обвинения. Но есть и второй, посерьезнее, и я не скрою его от вас. Полина не только любила меня, — сегодня утром, перед смертью, она за этим самым столом завещала моей церкви полмиллиона. Ну, где же оковы? Вам не понять, что мне безразличны ваши нелепые кары. В тюрьме я буду ждать, как на станции, скорого поезда к ней. Виселица доставит меня еще скорее. Он говорил с ораторской властностью. Фламбо и Джоан в немом восхищении глядели на него. Лицо отца Брауна выражало только глубокую печаль; он смотрел в пол, и лоб его прорезала морщина. Пророк, легко опершись о доску стола, завершал свою речь: — Я изложил свое дело коротко, больше сказать нечего. Еще меньше слов понадобится мне, чтобы опровергнуть обвинение. Правда проста: убить я не мог. Полина Стэси упала с этого этажа в пять минут первого. Человек сто подтвердят под присягой, что я стоял на своем балконе с двенадцати, ровно четверть часа.

Я всегда совершаю в это время молитву на глазах у всего света. Мой клерк, простой и честный человек, никак со мной не связанный, скажет, что сидел в приемной все утро, и никто от меня не выходил. Он скажет, что я пришел без четверти двенадцать, когда о несчастье никто еще не думал, и не уходил с тех пор из конторы. Такого полного алиби ни у кого не было: показания в мою пользу даст весь Вестминстер. Как видите, оков не нужно. Дело закончено. Но под конец я скажу вам все, что вы хотите выведать, и разгоню последние клочья нелепейшего подозрения. Мне кажется, я знаю, как умерла моя несчастная подруга. Воля ваша, вините в том меня, или мое учение, или мою веру. Но обвинить меня в суде нельзя. Все, прикоснувшиеся к высшим истинам, знают, что люди, достигшие высоких степеней посвящения, обретали иногда дар левитации, умели держаться в воздухе. Это лишь часть той победы над материей, на которой зиждется наша сокровенная мудрость. Несчастная Полина была порывиста и горда. По правде говоря, она постигла тайны не так глубоко, как думала. Когда мы спускались в лифте, она часто мне говорила, что, если воля твоя сильна, ты слетишь вниз, как перышко. Я искренне верю, что, воспаривши духом,

она дерзновенно понадеялась на чудо. Но воля или вера изменили ей, и низший закон, страшный закон материи взял свое. Вот и все, господа. Это печально, а по-вашему — и самонадеянно, и дурно, но преступления здесь нет, и я тут ни при чем. В отчете для полиции лучше назвать это самоубийством. Я же всегда назову это ошибкой подвижницы, стремившейся к большему знанию и к высшей, небесной жизни. Фламбо впервые видел, что друг его побежден. Отец Браун сидел тихо и глядел в пол, страдальчески хмурясь, словно стыдился чего-то. Трудно было бороться с ощущением, которое так властно поддержали крылатые слова пророка: тот, кому положено подозревать людей, побежден гордым, чистым духом свободы и здоровья. Наконец священник сказал, моргая часто, как от боли: — Ну что ж, если так, берите это завещание. Где же она, бедняжка, его оставила? — На столе, у двери, — сказал Калон с той весомой простотой, которая сама по себе оправдывала его. — Она мне говорила, что напишет сегодня утром, да я и сам видел ее, когда поднимался на лифте к себе. — Дверь была открыта? — спросил священник, глядя на уголок ковра. — Да, — спокойно ответил Калон. — Так ее и не закрыли… — сказал отец Браун, прилежно

изучая ковер. — Вот какая-то бумажка, — проговорила непонятным тоном мрачная Джоан Стэси. Она прошла к столу сестры и взяла листок голубой бумаги. Брезгливая ее улыбка совсем не подходила к случаю, и Фламбо нахмурился, взглянув на нее. Пророк стоял в стороне с тем царственным безразличием, которое его всегда выручало. Бумагу взял Фламбо и стал ее читать, все больше удивляясь. Поначалу было написано, как надо, но после слов «отдаю и завещаю все, чем владею в день смерти» буквы внезапно сменились царапинами, а подписи вообще не было. Фламбо в полном изумлении протянул это другу, тот посмотрел и молча передал служителю солнца. Секунды не прошло, как жрец, взвихрив белые одежды, двумя прыжками подскочил к Джоан Стэси. Синие его глаза вылезли из орбит. — Что это за шутки? — орал он. — Полина больше написала! Страшно было слышать его новый, по-американски резкий говор. И величие, и велеречивость спали с него, как плащ. — На столе ничего другого нет, — сказала Джоан и все с той же благосклонно-язвительной улыбкой прямо посмотрела на него. Он разразился мерзкой, немыслимой бранью. Страшно и стыдно было видеть, как упала с него маска, словно отвалилось лицо. — Эй,

вы! — заорал он, отбранившись. — Может, я и мошенник, а вы — убийца! Вот вам и разгадка, без всяких этих левитаций! Девочка писала завещание… оставляла все мне… эта мерзавка вошла… вырвала перо… потащила ее к колодцу и столкнула! Да, без наручников не обойдемся! — Как вы справедливо заметили, — с недобрым спокойствием произнесла мисс Джоан, — ваш клерк — человек честный и верит в присягу. Он скажет в любом суде, что я приводила в порядок бумаги за пять минут до смерти сестры и через пять минут после ее смерти. Мистер Фламбо тоже скажет, что застал меня там, у вас. Все промолчали. — Значит, Полина была одна! — воскликнул Фламбо. — Она покончила с собой! — Она была одна, — сказал отец Браун, — но с собой не покончила. — Как же она умерла? — нетерпеливо спросил Фламбо. — Ее убили. — Так она же была одна! — возразил сыщик. — Ее убили, когда она была одна, — ответил священник. Все глядели на него, но он сидел так же тихо, отрешенно, и круглое лицо его хмурилось, словно он горевал о ком-то или за кого-то стыдился. Голос его был ровен и печален. Калон снова выругался. — Нет, вы скажите, — крикнул он, — когда придут за этой кровожадной гадиной? Убила родную сест-

ру, украла у меня полмиллиона… — Ладно, ладно, пророк, — усмехнулся Фламбо, — чего там, этот мир — только марево… Служитель солнечного бога попытался снова влезть на пьедестал. — Не в деньгах дело! — возгласил он. — Конечно, на них я распространил бы учение по всему свету. Но главное — воля моей возлюбленной. Для нее это было святыней. Полина видела… Отец Браун вскочил, кресло зашаталось. Он был страшно бледен, но весь светился надеждой, и глаза его сияли. — Вот! — звонко воскликнул он. — С этого и начнем! Полина видела… Высокий жрец суетливо, как сумасшедший, попятился перед маленьким священником. — Что такое? — визгливо повторял он. — Да как вы смеете? — Полина видела… — снова сказал священник, и глаза его засияли еще ярче. Говорите… ради Бога, скажите все! Самому гнусному преступнику, совращенному бесом, становится легче после исповеди. Покайтесь, я очень вас прошу! Как видела Полина? — Пустите меня, черт вас дери! — орал Калон, словно связанный гигант. Какое вам дело? Ищейка! Паук! Что вы меня путаете? — Схватить его? — спросил Фламбо, кидаясь к выходу, ибо Калон широко распахнул дверь. — Нет, пусть идет, — сказал отец Браун и вздохнул так глубоко,

словно печаль его всколыхнула глубины Вселенной. — Пусть Каин идет, он — Божий. Когда он уходил, все молчали, и быстрый разум Фламбо томился в недоумении. Мисс Джоан с превеликим спокойствием прибирала бумаги на своем столе. — Отец, — сказал наконец Фламбо, — это долг мой, не только любопытство… Я должен узнать, если можно, кто совершил преступление. — Какое? — спросил священник. — То, которое сегодня случилось, — отвечал его порывистый друг. — Сегодня случилось два преступления, — сказал отец Браун. — Они очень разные, и совершили их разные люди. Мисс Джоан сложила бумаги, отодвинула их и стала запирать шкаф. Отец Браун продолжал, обращая на нее не больше внимания, чем она обращала на него. — Оба преступника, — говорил он, — воспользовались одним и тем же свойством одного и того же человека, и боролись они за одни и те же деньги. Преступник покрупнее споткнулся о преступника помельче, и деньги получил тот. — Не тяните вы, как на лекции, — взмолился Фламбо. — Скажите попросту. — Я скажу совсем просто, — согласился его друг. Мисс Джоан, деловито и невесело хмурясь, надела перед зеркальцем невеселую, деловитую шляпку, неторопливо взяла сумку и зонтик и вышла из

комнаты. — Правда очень проста, — сказал отец Браун. — Полина Стэси слепла. — Слепла… — повторил Фламбо, медленно встал и распрямился во весь свой огромный рост. — Это у них в роду, — продолжал отец Браун. — Сестра носила бы очки, но она ей не давала, У нее ведь такая философия, или такое суеверие… она считала, что слабость нужно преодолеть. Она не признавала, что туман сгущается, хотела разогнать его волей. От напряжения она слепла еще больше, но самое трудное было впереди. Этот несчастный пророк, или как его там, заставил ее глядеть на огненное солнце. Они это называли «вкушать Аполлона». О, Господи, если бы эти новые язычники просто подражали старым! Те хоть знали, что в чистом, беспримесном поклонении природе немало жестокого. Они знали, что око Аполлона может погубить и ослепить. Священник помолчал, потом начал снова, тихо и даже с трудом: — Не пойму, сознательно ли ослепил ее этот дьявол, но слепотой он воспользовался сознательно. Убил он ее так просто, что невозможно об этом подумать. Вы знаете, оба они спускались и поднимались на лифте сами; знаете вы и то, как тихо эти лифты скользят. Калон поднялся до ее этажа и увидел в открытую дверь, что она медленно, выводя

буквы по памяти, пишет завещание. Он весело крикнул, что лифт ее ждет, и позвал, когда она допишет, к себе. А сам нажал кнопку, беззвучно поднялся выше и молился в полной безопасности, когда она, бедная, кончила писать, побежала в лифт, чтобы скорей попасть к возлюбленному, и ступила… — Не надо! — крикнул Фламбо. — За то, что он нажал кнопку, он получил бы полмиллиона, — продолжал низкорослый священник тем ровным голосом, которым он всегда говорил о страшных вещах. — Но ничего не вышло. Не вышло ничего потому, что еще один человек хотел этих денег и знал о Полининой болезни. Вот вы не заметили в завещании такой странности: оно не дописано и не подписано, а подписи свидетелей — Джоан и служанки — там стоят. Джоан подписалась первой и с женским пренебрежением к формальностям сказала, что сестра подпишется потом. Значит, она хотела, чтобы сестра подписалась без настоящих, чужих свидетелей. С чего бы это? Я вспомнил, что Полина слепла, и понял: Джоан хотела, чтобы ее подписи вообще не было. Такие женщины всегда пишут вечным пером, а Полина и не могла писать иначе. Привычка, и воля, и память помогали ей писать хорошо; но она не знала, есть ли в ручке чер-

нила. Наполняла ручку сестра — а на сей раз не наполнила. Чернил хватило на несколько строк, потом они кончились. Пророк потерял пятьсот тысяч фунтов и совершил зря самое страшное и гениальное преступление на свете. Фламбо подошел к открытым дверям и услышал, что по лестнице идет полиция. Он обернулся и сказал: — Как же вы ко всему присматривались, если так быстро его разоблачили! Отец Браун удивился. — Его? — переспросил он. — Да нет! Мне было трудно с этой ручкой и с мисс Джоан. Что Калон преступник, я знал еще там, на улице. — Вы шутите? — спросил Фламбо. — Нет, не шучу, — отвечал священник. — Я знал, что он преступник раньше, чем узнал, каково его преступление. — Как это? — спросил Фламбо. — Языческих стоиков, — задумчиво сказал отец Браун, — всегда подводит их сила. Раздался грохот, поднялся крик, а жрец Аполлона не замолчал и не обернулся. Я не знал, что случилось; но я понял, что он этого ждал.

СЛОМАННАЯ ШПАГА

Тысячи рук леса были серыми, а миллионы его пальцев — серебряными. В сине-зеленом сланцевом небе, как осколки льда, холодным светом мерцали звезды. Весь этот лесистый и пустынный край был скован жестоким морозом. Черные

промежутки между стволами деревьев зияли бездонными черными пещерами холода. Даже прямоугольная каменная башня церкви была обращена на север, как языческие постройки, и походила на вышку, сложенную первобытными племенами в прибрежных скалах Исландии. Ничто не располагало в такую ночь к осмотру кладбища. И все-таки, пожалуй, его стоило осмотреть. Кладбище лежало на холме, который вздымался над пепельными пустынями леса наподобие горба или плеча, покрытого серым при звездном зеленом свете дерном. Большинство могил расположено было по склону; тропа, взбегавшая к церкви, крутизною напоминала лестницу. На приплюснутой вершине холма, в самом заметном месте, стоял памятник, который прославил всю округу. Он резко выделялся среди неприметных могил. Создал его один из величайших скульпторов современной Европы; однако слава художника померкла в блеске славы того, чей образ он воссоздал. Звездный свет очерчивал своим серебряным карандашом массивную металлическую фигуру простертого на земле солдата; сильные руки были сложены в вечной мольбе, а большая голова покоилась на ружье. Исполненное достоинства лицо обрамляла

борода, вернее, бакенбарды в старомодном, тяжеловесном вкусе служаки-полковника. Мундир, намеченный несколькими скупыми деталями, был обычной формой современных войск. Справа лежала шпага с отломанным концом, слева — Библия. В солнечные летние дни сюда наезжали в переполненных линейках американцы и просвещенные местные жители, чтобы осмотреть памятник. Но даже и в такие дни их угнетала необычайная тишина одинокого круглого холма, заброшенного кладбища и церкви, возвышавшихся над чащами. В эту темную морозную ночь, казалось, каждый бы мог ожидать, что останется наедине со звездами. Но вот в тишине застывших лесов скрипнула деревянная калитка: по тропинке к памятнику солдата поднимались две смутно чернеющие фигуры. При тусклом холодном свете звезд видно было только, что оба путника в черных одеждах и что один из них непомерно велик, а другой (возможно, по контрасту) удивительно мал. Они подошли к надгробию знаменитого воина и несколько минут разглядывали его. Вокруг не было ни единого живого существа; человек с болезненно-мрачной фантазией мог бы даже усомниться, смертей ли он сам. Начало их разговора, во всяком случае,

было весьма странным. После минутного молчания маленький путник сказал большому: — Где умный человек прячет камешек? И большой тихо ответил: — На морском берегу. Маленький кивнул головой и снова спросил: — А где умный человек прячет лист? И большой ответил; — В лесу. Опять наступила тишина, затем большой заговорил снова: — А когда умному человеку понадобилось спрятать настоящий алмаз, он спрятал его среди поддельных, — вы намекаете на это, не правда ли? — Нет-нет, — смеясь, возразил маленький, — не будем поминать старое. Он потопал замерзшими ногами и продолжал: — Я думаю не об этом, о другом, — о совсем необычном. А ну-ка, зажгите спичку. Большой порылся в кармане, вскоре чиркнула спичка, и пламя ее окрасило желтым светом плоскую грань памятника. На ней черными буквами были высечены хорошо известные слова, с благоговением прочитанные толпами американцев:

В священную память ГЕНЕРАЛА СЭРА АРТУРА СЕНТ-КЛЭРА, героя и мученика, всегда побеждавшего своих врагов и всегда щадившего их, но предательски сраженного ими. Да вознаградит его Господь, на Которого он уповал, и да отмстит за его погибель

Спичка обожгла большому пальцы, почернела и упала. Он хотел зажечь еще одну, чтобы дочитать до конца, но товарищ остановил его: — Не надо, Фламбо: я видел все, что хотел. Точнее сказать, не видел того, чего не хотел. А теперь нам предстоит пройти полторы мили до ближайшей гостиницы; там, отдохнув и закусив, я расскажу вам обо всем. Видит Бог: только за кружкой эля у камелька осмелишься рассказать такую историю. Они спустились по обрывистой тропе, заперли ветхую калитку и, звонко топая, зашагали по мерзлой лесной дороге. Они прошли не меньше четверти мили, прежде чем маленький заговорил снова. — Умный человек прячет камешек на морском берегу, — сказал он. — Но что ему делать, если берега нет? Знаете ли вы что-нибудь о несчастье, постигшем прославленного Сент-Клэра? — Об английских генералах я ничего не знаю, отец Браун, — рассмеявшись, ответил большой, — только немного знаком с английскими полицейскими. Зато я отлично знаю, какую уйму времени потратил, таскаясь с вами по всем местам, связанным с именем этого молодца, кто бы он ни был. Можно подумать, его похоронили в шести разных могилах. В Вестминстерском аббатстве я видел памятник генералу Сент-Клэру. На

набережной Темзы — статую генерала Сент-Клэра на вздыбленном коне. Один барельеф генерала Сент-Клэра я видел на улице, где он жил, другой — на улице, где он родился, а теперь, в глухую полночь, вы притащили меня на это сельское кладбище. Эта блистательная особа начинает мне чуточку надоедать, тем более что я понятия не имею, кто он такой… Что вы так упорно разыскиваете среди всех этих склепов и изваяний? — Я ищу одно слово, — сказал отец Браун, — слово, которого здесь нет. — Может быть, вы что-нибудь расскажете? — спросил Фламбо. — Свой рассказ мне придется разделить на две части, — заметил священник, первая часть — это то, что знают все; вторая — то, что знаю только я. Первую, что знают все, можно изложить коротко и ясно. Но она далека от истины. — Прекрасно, — весело сказал большой человек, которого звали Фламбо. Давайте начнем с того, что знают все, — с неправды. — Если это и не совсем ложно, то, во всяком случае, мало соответствует истине, — продолжал отец Браун. — В сущности, все, что известно широкой публике, сводится к следующему… Ей известно, что Артур Сент-Клэр был выдающимся английским генералом. Известно, что после ряда блестящих, хотя и достаточно осторожных

кампаний в Индии и в Африке он был назначен командующим войсками, сражавшимися против бразильцев, когда Оливье, великий бразильский патриот, предъявил свой ультиматум. Известно, что Сент-Клэр незначительными силами атаковал Оливье, у которого были превосходящие силы, и после героического сопротивления был захвачен в плен. Известно также, что после своего пленения генерал, к негодованию всего цивилизованного человечества, был повешен на ближайшем дереве. После ухода бразильцев его нашли в петле, на шее у него висела поломанная шпага. — И эта версия неверна? — поинтересовался Фламбо. — Нет, — спокойно сказал его приятель, — все, что я успел рассказать, верно. — Мне кажется, вы успели рассказать довольно много, — сказал Фламбо. — Если это верно, то в чем же тайна? Они миновали много сотен серых, похожих на призраки деревьев, прежде чем священник ответил. Задумчиво покусывая палец, он сказал: — Тайна тут — в психологии, вернее сказать, в двух психологиях. В этом бразильском деле двое знаменитейших людей современности действовали вопреки своему характеру. Заметьте, оба они, Оливье и Сент-Клэр, были героями — в этом не приходится сомневаться. Это был

поединок между Ахиллом и Гектором. Что бы вы сказали о схватке, в которой Ахилл оказался бы нерешительным, а Гектор предателем? — Продолжайте, — нетерпеливо промолвил Фламбо, когда рассказчик снова начал покусывать палец. — Сэр Артур Сент-Клэр был солдатом старого религиозного склада, одним из тех, кто спас нас во время Большого бунта, — продолжал Браун. — Превыше всего для него был долг, а не показная храбрость. При всей своей личной отваге он был, безусловно, осторожным военачальником и особенно негодовал, узнавая о бесполезных потерях живой силы. Однако в этой последней битве он предпринял действия, нелепость которых очевидна даже ребенку. Не надо быть стратегом, чтобы понять всю безрассудность его затеи, как не надо быть стратегом, чтобы не попасть под автобус. Вот первая тайна: что сталось с разумом английского генерала? Вторая загадка: что сталось с сердцем бразильского генерала? Президента Оливье можно называть мечтателем или опасным фанатиком, но даже его враги признавали, что он великодушен, как странствующий рыцарь. Он отпускал на свободу почти всех, кто когда-либо попадал к нему в плен, а многих даже осыпал знаками своей милости. Люди, которые

причинили ему бесспорное зло, уходили, тронутые его простотой и добросердечием. Зачем же, черт возьми, решился он впервые в своей жизни на такую дьявольскую месть, да еще за нападение, которое не могло ему повредить? Вот в чем тайна. Один из разумнейших людей на свете без всякого основания поступил как идиот. Один из великодушнейших людей на свете без всякого основания поступил как изверг. Вот и все. Об остальном, мой друг, вы можете догадаться сами. — Э, нет, — ответил его спутник, фыркнув. — Я предоставлю это вам. Расскажите-ка мне обо всем. — Тогда слушайте, — начал отец Браун. — Было бы несправедливо утверждать, будто все сведения исчерпываются тем, что я рассказал, и обойти молчанием два сравнительно недавних события. Нельзя сказать, чтобы они пролили свет на это дело, ибо никто не может уяснить себе их значения. Но если так можно выразиться, они еще более затемнили его; обнаружились новые, покрытые мраком обстоятельства. Первое событие. Врач Сент-Клэров рассорился с этим семейством и начал публиковать целую серию резких статей, в которых доказывает, что покойный генерал был религиозным маньяком; впрочем, насколько можно судить по его собственным словам, это

означает лишь чрезмерную религиозность. Как бы то ни было, его нападки кончились ничем. Разумеется, все и так знали, что Сент-Клэр был излишне строг в своем пуританском благочестии. Второе происшествие заслуживает большего внимания: в злосчастном, лишенном поддержки полку, который бросился в отчаянную атаку у Черной реки, служил некий капитан Кейт; в то время он был помолвлен с дочерью генерала и впоследствии на ней женился. Он был среди тех, кто попал в плен к Оливье; надо думать, что с ним, как и со всеми остальными, кроме генерала, обошлись великодушно и вскоре отпустили на свободу. Около двадцати лет спустя Кейт — теперь уже полковник — выпустил в свет нечто вроде автобиографии, озаглавленной «Британский офицер в Бирме и Бразилии». В том месте книги, где читатель жадно ищет сведений о причинах поражения Сент-Клэра, он находит следующие слова: «Везде в своей книге я описывал события точно так, как они происходили в действительности, придерживаясь того устарелого взгляда, что слава Англии не нуждается в прикрасах. Исключение из этого правила я делаю только для поражения при Черной реке. Для этого у меня есть основания, хотя и личные, но вполне добропо-

рядочные и чрезвычайно веские. Однако, чтобы отдать должное памяти двух выдающихся людей, я добавлю несколько слов. Генерала Сент-Клэра обвиняли в бездарности, которую он якобы проявил в этом сражении; могу засвидетельствовать, что его действия — если только их правильно понимать — едва ли не самые талантливые и дальновидные в его жизни. По тем же источникам президент Оливье обвиняется в чудовищной несправедливости. Считаю своим долгом восстановить честь врага, заявив, что в данном случае он проявил даже больше добросердечия, чем обычно. Изъясняясь понятнее, хочу заверить своих соотечественников в том, что Сент-Клэр вовсе не был таким глупцом, а Оливье таким злодеем, какими их изображают. Вот все, что я могу сообщить, и никакие земные побуждения не заставят меня прибавить ни слова». Большая замерзшая луна, похожая на блестящий снежный ком, проглядывала сквозь путаницу ветвей, и при ее свете рассказчик, чтобы освежить память, заглянул в клочок бумаги, вырванный из книги капитана Кейта. Когда он сложил и убрал его в карман, Фламбо вскинул руку — жест, свойственный экспансивным французам. — Минутку, обождите минутку! — закричал он возбужденно. — Мне

кажется, я догадываюсь. Он шел большими шагами, тяжело дыша, вытянув вперед бычью шею, как спортсмен, участвующий в состязаниях по ходьбе. Священник — повеселевший и заинтересованный — семенил сбоку, едва поспевая за ним. Деревья расступились. Дорога сбегала вниз по залитой лунным светом поляне и, точно кролик, ныряла в стоявший сплошной стеной лес. Издали вход в этот лес казался маленьким и круглым, как черная дыра железнодорожного туннеля. Но когда Фламбо заговорил снова, отверстие было всего в нескольких сотнях ярдов от путников и зияло, как пещера. — Понял! — вскричал он, ударяя ручищей по бедру. — Четыре минуты размышлений — и теперь я сам могу изложить все происшедшее. — Отлично, — согласился его друг, — рассказывайте. Фламбо поднял голову, но понизил голос. — Генерал Артур Сент-Клэр, — сказал он, — происходил из семьи, страдавшей наследственным сумасшествием. Он во что бы то ни стало хотел скрыть это от своей дочери и даже, если возможно, от будущего зятя. Верно или нет, он думал, что наступает час полного затмения рассудка, и потому решил покончить с собой. Обычное самоубийство привело бы к огласке, которой он так страшился. Когда начались воен-

ные действия, разум его помутился, и в приступе безумия он пожертвовал общественным долгом ради своей личной чести. Генерал стремительно бросился в битву, рассчитывая пасть от первого же выстрела. Но когда он обнаружил, что не добился ничего, кроме позора и плена, безумие, как взрыв бомбы, поразило его сознание, он сломал собственную шпагу и повесился. Фламбо уставился на серую стену леса с единственным черным отверстием, похожим на могильную яму, — туда ныряла их тропа. Должно быть, в том, что дорогу проглатывал лес, было что-то жуткое; он еще ярче представил себе трагедию и вздрогнул. — Страшная история, — проговорил он. — Страшная история, — наклонив голову, подтвердил священник, — но на самом деле произошло совсем другое. — В отчаянии откинув голову, он воскликнул: О, если бы все было так, как вы описали! Фламбо повернулся и посмотрел на него с удивлением. — В том, что вы рассказали, нет ничего дурного, — глубоко взволнованный, заметил отец Браун. — Это рассказ о хорошем, честном, бескорыстном человеке — светлый и ясный, как эта луна. Сумасшествие и отчаяние заслуживают снисхождения. Все значительно хуже. Фламбо бросил испуганный взгляд на лу-

ну, которую отец Браун только что упомянул в своем сравнении, — ее пересекал изогнутый черный сук, похожий на рог дьявола. — Как! — с порывистым жестом вскричал Фламбо и быстрее зашагал вперед. Еще хуже? — Еще хуже, — как эхо, мрачно откликнулся священник. И они вступили в черную галерею леса, словно задернутую по бокам дымчатым гобеленом стволов, — такие темные проходы могут привидеться разве что в кошмаре. Вскоре они достигли самых потаенных недр леса; здесь ветвей уже не было видно, путники только чувствовали их прикосновение. И снова раздался голос священника: — Где умный человек прячет лист? В лесу. Но что ему делать, если леса нет? — Да-да, — отозвался Фламбо раздраженно, — что ему делать? — Он сажает лес, чтобы спрятать лист, — сказал священник приглушенным голосом, — Страшный грех! — Послушайте! — воскликнул его товарищ нетерпеливо, так как темный лес и темные недомолвки стали действовать ему на нервы. — Расскажете вы эту историю или нет? Что вы еще знаете? — У меня имеются три свидетельских показания, — начал его собеседник, которые я отыскал с немалым трудом. Я расскажу о них скорее в логической, чем в хронологической последовательности. Пре-

жде всего о ходе и результате битвы сообщается в донесениях самого Оливье, которые достаточно ясны. Он вместе с двумя-тремя полками окопался на высотах у Черной реки, оба берега которой заболочены. На противоположном берегу, где местность поднималась более отлого, располагался первый английский аванпост. Основные части находились в тылу, на значительном от него расстоянии. Британские войска во много раз превосходили по численности бразильские, но этот передовой полк настолько оторвался от базы, что Оливье уже обдумывал план переправы через реку, чтобы отрезать его. Однако к вечеру он решил остаться на прежней позиции, исключительно выгодной. На рассвете следующего дня он был ошеломлен, увидев, что отбившаяся, лишенная поддержки с тыла горсточка англичан переправляется через реку — частично по мосту, частично вброд — и группируется на болотистом берегу, чуть ниже того места, где находились его войска. То, что англичане с такими силами решились на атаку, было само по себе невероятным, но Оливье увидел нечто еще более поразительное. Солдаты сумасшедшего полка, своей безрассудной переправой через реку отрезавшие себе путь к отступлению, даже не пытались выбраться на

твердую почву: они бездействовали, завязнув в болоте, как мухи в патоке. Не стоит и говорить, что бразильцы пробили своей артиллерией большие бреши в рядах врагов; англичане могли противопоставить ей лишь оживленный, но слабеющий ружейный огонь. И все-таки они не дрогнули; краткий рапорт Оливье заканчивается горячим восхищением загадочной отвагой этих безумцев. «Затем мы стали продвигаться вперед развернутым строем, — пишет Оливье, — и загнали их в реку; мы взяли в плен самого генерала Сент-Клэра и несколько других офицеров. Полковник и майор — оба пали в этом сражении. Не могу удержаться, чтобы не отметить, что история видела немного таких прекрасных зрелищ, как последний бой этого доблестного полка; раненые офицеры подбирали ружья убитых солдат, сам генерал сражался на коне, с непокрытой головой, шпага его была сломана». О том, что случилось с генералом позднее, Оливье умалчивает, как и капитан Кейт. — А теперь, — проворчал Фламбо, — расскажите мне о следующем показании. — Чтобы разыскать его, — сказал отец Браун, — мне пришлось потратить много времени, но рассказ о нем будет короток. В одной из линкольнширских богаделен мне удалось найти старого солдата,

который был не только ранен у Черной реки, но стоял на коленях перед командиром части, когда тот умирал. Этот последний, некий полковник Кланси, здоровеннейший ирландец, надо думать, умер не столько от ран, сколько от ярости. Он-то во всяком случае не несет ответственности за нелепую вылазку, — вероятно, она была навязана ему генералом. Солдат передал мне предсмертные слова полковника: «Вон едет проклятый старый осел. Жаль, что он сломал шпагу, а не голову». Обратите внимание, все замечают эту шпагу, хотя большинство людей выражается о ней более почтительно, чем покойный полковник Кланси. Перехожу к последнему показанию… Тропа, идущая сквозь лесную чашу, стала подниматься вверх, и священник остановился, чтобы передохнуть, прежде чем возобновить рассказ. Затем он продолжал тем же деловым тоном: — Всего один или два месяца назад в Англии скончался высокопоставленный бразильский чиновник. Поссорившись с Оливье, он уехал из родной страны. Это была хорошо известная личность как здесь, так и на континенте, испанец по фамилии Эспадо, желтолицый крючконосый щеголь; я был с ним лично знаком. По некоторым причинам частного порядка я добился разрешения просмот-

реть оставшиеся после него бумаги. Разумеется, он был католиком, и я находился с ним до самой кончины. Среди его бумаг не нашлось ничего, что могло бы осветить темные места сент-клэровского дела, за исключением пяти-шести школьных тетрадей, оказавшихся дневником какого-то английского солдата. Я могу только предположить, что он был найден бразильцами на одном из убитых. К сожалению, записи обрываются накануне стычки. Но описание последнего дня в жизни этого бедного малого, несомненно, стоит прочесть. Оно при мне, но сейчас так темно, что ничего не разобрать. Перескажу его вкратце. Первая часть наполнена шуточками, которые, как видно, были в ходу у солдат, по адресу одного человека, прозванного Стервятником. Кто он, сказать трудно, по-видимому, он не принадлежал к их рядам и даже не был англичанином. Не говорят о нем и как о враге. Скорее всего, это был какой-то нейтральный посредник из местных жителей, возможно, проводник или журналист. Он о чем-то совещался наедине со старым полковником Кланси, но значительно чаще видели, как он беседует с майором. Этот майор занимает видное место в повествовании моего солдата. По описанию, это был худощавый темноволосый

человек по фамилии М?ррей, пуританин, родом из Северной Ирландии. Во многих остротах суровость этого ольстерца противопоставляется общительности полковника Кланси. Встречаются также словечки, высмеивающие яркую и пеструю одежду Стервятника. Но все это легкомыслие рассеивается при первых признаках тревоги. Позади английского лагеря, почти параллельно реке, проходила одна из немногочисленных больших дорог. На западе она сворачивала к реке, пересекая ее по мосту. К востоку дорога снова углублялась в дикие лесные заросли, а двумя милями дальше стоял следующий английский аванпост. В тот вечер солдаты заметили в этом направлении блеск оружия и услышали топот легкой кавалерии; даже неискушенный автор дневника догадался, что едет генерал со своим штабом. Он восседал на большом белом коне, которого мы часто видели в иллюстрированных газетах и на академических полотнах. Можете не сомневаться, что приветствие, которым его встретили солдаты, было не пустой церемонией. Сам он между тем не тратил времени на церемонии: соскочив с седла, он присоединился к группе офицеров и принялся оживленно и конфиденциально беседовать с ними. Наш друг, автор

дневника, заметил, что генерал охотнее всего обсуждает дела с майором М?рреем, но такое предпочтение, пока оно не стало подчеркнутым, казалось вполне естественным. Эти люди были словно созданы для взаимного понимания: оба они, как говорится, «читали свои Библии», оба были офицерами старого евангелического толка. Во всяком случае, достоверно, что, когда генерал снова садился в седло, он продолжал серьезный разговор с М?р-реем, а когда пустил лошадь медленным шагом по дороге, высокий ольстерец все еще шел у повода коня, поглощенный беседой. Солдаты наблюдали за ними, пока они не скрылись в небольшой рощице, где дорога поворачивала к реке. Полковник Кланси возвратился к себе в палатку, солдаты отправились на посты, автор дневника задержался еще на несколько минут и увидел изумительное зрелище. Прямо по направлению к лагерю несся большой белый конь, который только что, словно на параде, медленно выступал по дороге. Он летел стрелой, точно приближаясь на скачках к финишу. Сперва солдаты подумали, что он сбросил седока, но скоро увидели, что это сам генерал — превосходный наездник — гнал его во весь опор. Конь и всадник вихрем подлетели к солдатам; круто осадив ска-

куна, генерал повернул к ним лицо, от которого, казалось, исходило пламя, и голосом, подобным звукам трубы в день Страшного суда, потребовал к себе полковника. Замечу, кстати, что в головах таких людей, как наш солдат, потрясающие события этой катастрофы громоздятся друг на друга, словно груда бревен. Не успев опомниться после сна, солдаты становятся, едва не падая, в строй и узнают, что должны немедленно переправиться через реку и начать атаку. Им сообщают: генерал и майор обнаружили что-то у моста, и теперь для спасения жизни остается одно: незамедлительно напасть на врага. Майор срочно отправился в тыл вызвать резервы, стоящие у дороги. Однако сомнительно, чтобы подкрепления подошли вовремя, даже несмотря на спешку. Ночью полк должен форсировать реку и к утру овладеть высотами. Этой тревожной и волнующей картиной романтического ночного марша дневник внезапно заканчивается… Лесная тропа делалась все уже, круче и извилистей, пока не стала походить на винтовую лестницу. Отец Браун шел впереди, и теперь его голос доносился сверху. — Там упоминается еще об одной небольшой, но очень важной подробности. Когда генерал призывал их к атаке, он наполовину вытащил шпагу из ножен,

но потом, устыдившись своего мелодраматического порыва, вдвинул ее обратно. Как видите, опять эта шпага! Слабый полусвет прорывался сквозь сплетение сучьев над головами путников и отбрасывал к их ногам призрачную сеть: они снова приближались к тусклому свету открытого неба. Истина окутывала Фламбо, как воздух, но он не мог выразить ее. Он ответил в замешательстве: — Что же тут особенного? Офицеры обычно носят шпаги, не так ли? — В современной войне о них не часто упоминают, — бесстрастно произнес рассказчик, — но в этом деле повсюду натыкаешься на проклятую шпагу. — Ну и что же из этого? — пробурчал Фламбо. — Дешевая сенсация: шпага старого воина ломается в его последней битве. Готов побиться об заклад, что газеты прямо-таки набросились на этот случай. На всех этих гробницах и тому подобных штуках шпагу генерала всегда изображают с отломанным концом. Надеюсь, вы потащили меня в эту полярную экспедицию не только из-за того, что два романтически настроенных человека видели сломанную шпагу Сент-Клэра? — Нет! — Голос отца Брауна прозвучал резко, как револьверный выстрел. — Но кто видел шпагу целой? — Что вы хотите сказать? — воскликнул его спутник и оста-

новился, как вкопанный. Они не заметили, как вышли из серых ворот леса на открытое место. — Я спрашиваю: кто видел его шпагу целой? — настойчиво повторил отец Браун. — Только не тот, кто писал дневник: генерал вовремя убрал ее в ножны. Освещенный лунным сиянием Фламбо огляделся вокруг невидящим взглядом — так человек, пораженный слепотой, смотрит на солнце, — а его товарищ, в голосе которого впервые зазвучали страстные нотки, продолжал: — Даже обыскав все эти могилы, Фламбо, я ничего не могу доказать. Но я уверен в своей правоте. Разрешите мне добавить к своему рассказу одну небольшую подробность, которая переворачивает все вверх дном. По странной случайности, одним из первых пуля поразила полковника. Он был ранен задолго до того, как войска вошли в непосредственное соприкосновение. Но он видел уже сломанную шпагу Сент-Клэра. Почему она была сломана? Как она была сломана? Мой друг, она сломалась еще до сражения! — О,- заметил его товарищ с напускной веселостью. — А где же отломанный кусок? — Могу вам ответить, — быстро сказал священник, — в северо-восточном углу кладбища при протестантском соборе в Белфасте. — В самом деле? — переспросил его собеседник. —

Вы уже искали его там? — Это невозможно, — с искренним сожалением ответил Браун. — Над ним находится большой мраморный памятник — памятник майору М?ррею, который пал смертью храбрых в знаменитой битве при Черной реке. Казалось, по телу Фламбо пробежал гальванический ток. — Вы хотите сказать, — сиплым голосом воскликнул он, — что генерал Сент-Клэр ненавидел М?ррея и убил его на поле сражения, потому что... — Вы все еще полны чистых, благородных предположений, — сказал священник. Все было гораздо хуже. — В таком случае, — сказал большой человек, — запас моего дурного воображения истощился. Священник, видимо, раздумывал, с чего начать, и наконец сказал: — Где умный человек прячет лист? В лесу. Фламбо молчал. — Если нет леса, он его сажает. И если ему надо спрятать мертвый лист, он сажает мертвый лес. Ответа опять не последовало, и священник добавил еще мягче и тише: — А если ему надо спрятать мертвое тело, он прячет его под грудой мертвых тел. Фламбо шагал вперед так, словно малейшая задержка во времени или пространстве была ему ненавистна, но отец Браун продолжал говорить, развивая свою последнюю мысль: — Сэр Артур Сент-Клэр, как я уже упоми-

нал, был одним из тех, кто «читает свою Библию». Этим сказано все. Когда наконец люди поймут, что бесполезно читать только свою Библию и не читать при этом Библии других людей? Наборщик читает свою Библию, чтобы найти опечатки; мармон читает свою Библию и находит многобрачие; последователь «христианской науки» читает свою Библию и обнаруживает, что наши руки и ноги — только видимость. Сент-Клэр был старым англо-индийским солдатом протестантского склада. Подумайте, что это может означать, и ради всего святого отбросьте ханжество! Это может означать, что он был распущенным человеком, жил под тропическим солнцем среди отбросов восточного общества и, никем духовно не руководимый, без всякого разбора впитывал в себя поучения Восточной книги. Без сомнения, он читал Ветхий завет охотнее, чем Новый. Без сомнения, он находил в Ветхом завете все, что хотел найти: похоть, насилие, измену. Осмелюсь сказать, что он был честен в общепринятом смсле слова. Но что толку, если человек честен в своем поклонении бесчестности? В каждой из таинственных знойных стран, где довелось побывать этому человеку, он заводил гарем, пытал свидетелей, накапливал грязное золото. Конечно, он

сказал бы с открытым взором, что делает это во славу Господа. Я выражу свои сокровенные убеждения, если спрошу: какого Господа? Каждый такой поступок открывает новые двери, ведущие из круга в круг по аду. Не в том беда, что преступник становится необузданней и необузданней, а в том, что он делается подлее и подлее. Вскоре Сент-Клэр запутался во взяточничестве и шантаже, ему требовалось все больше и больше золота. Ко времени битвы у Черной реки он пал уже так низко, что место ему было лишь в последнем круге Данте. — Что вы хотите сказать? — спросил его друг. — А вот что, — решительно вымолвил священник и вдруг указал на лужицу, затянутую ледком, поблескивающим под лунным светом. — Вы помните, кого Данте поместил в последнем, ледяном круге ада? — Предателей, — сказал Фламбо и невольно вздрогнул. Он обвел взглядом безжизненные, дразняще-бесстыдные деревья и на миг вообразил себя Данте, а священника с журчащим, как ручеек, голосом — Вергилием, своим проводником в краю вековечных грехов. Голос продолжал: — Как известно, Оливье отличался донкихотством: он запретил секретную службу и шпионаж. Однако запрещение, как это часто бывает, обходили за его спиной. И нарушителем

был не кто иной, как наш старый друг Эспадо, тот самый пестро одетый хлыщ, которого прозвали Стервятником за его крючковатый нос. Напялив на себя маску благотворителя, он прощупывал солдат английской армии, пока не натолкнулся на единственного продажного человека. И, о Боже, он оказался тем, кто стоял на самом верху! Генералу Сент-Клэру позарез требовались деньги — целые горы денег. Незадачливый врач Сент-Клэров уже тогда угрожал теми необычайными разоблачениями, с которыми выступил впоследствии, но почему-то они были внезапно прекращены: носились слухи о чудовищных злодеяниях, совершенных некогда английским евангелистом с Парк-Лейн, — преступлениях ничуть не менее гнусных, чем человеческие жертвоприношения или продажа людей в рабство. К тому же деньги нужны были на приданое дочери; слава, которая сопутствует богатству, была ему так же дорога, как само богатство. Порвав последнюю нить, он шепнул слово бразильцам — и золото потекло к нему от врагов Англии. Но не только он, еще один человек говорил с Эспадо-Стервятником. Каким-то образом угрюмый молодой майор из Ольстера сумел догадаться об этой отвратительной сделке, и когда они не спеша двигались по дороге к

мосту, М?ррей заявил генералу, что тот должен немедленно выйти в отставку, иначе он будет судим военно-полевым судом и расстрелян. Генерал оттягивал решительный ответ, пока они не подошли к тропической роще у моста. И здесь, на берегу журчащей реки, у залитых солнцем пальм, я отчетливо вижу это, — генерал выхватил шпагу и заколол майора… Лютый мороз сковал зимнюю дорогу, окаймленную зловещими кустами и деревьями. Путники приближались к тому месту, где дорога переваливала через гребень холма, и Фламбо увидел далеко впереди неясный ореол, возникший не от лунного или звездного света, а от огня, зажженного человеческой рукой. Рассказ уже близился к концу, а он все не мог оторвать взгляд от далекого огонька. — Сент-Клэр был исчадием ада, сущим исчадием ада. Никогда — я готов в этом поклясться! — не проявил он такой ясности ума и такой силы воли, как в ту минуту, когда бездыханное тело бедного М?ррея лежало у его ног. Никогда ни в одном из своих триумфов, как правильно отметил капитан Кейт, не был так прозорлив этот одареннейший человек, как в последнем позорном сражении. Он хладнокровно осмотрел свое оружие, чтобы убедиться, что на нем не осталось следов крови, и увидел,

что конец шпаги, которой он заколол М?ррея, отломался и остался в теле жертвы. Спокойно — так, словно он глядел на происходящее из окна клуба, — Сент-Клэр обдумал все возможные последствия. Он понял, что рано или поздно люди найдут подозрительный труп, извлекут подозрительный обломок, заметят подозрительную шпагу. Он убил, но не заставил замолчать. Его могучий разум восстал против этого непредвиденного затруднения; оставался еще один выход: сделать труп менее подозрительным, скрыть его под горою трупов! Через двадцать минут восемьсот английских солдат двинулись навстречу гибели… Теплый свет, мерцающий за черным зимним лесом, стал сильнее и ярче, и Фламбо зашагал быстрее. Отец Браун также ускорил шаг, но казалось, что он целиком поглощен своим рассказом. — Таково было мужество этих английских солдат и таков гений их командира, что, если бы они без промедления атаковали холм, сумасшедший бросок мог бы увенчаться успехом. Но у злой воли, которая играла ими, как пешками, была совсем другая цель. Они должны были торчать в топях у моста до тех пор, пока трупы британских солдат не станут привычным зрелищем. Потом величественная заключительная сцена:

седовласый солдат, непорочный, как святой, отдает свою сломанную шпагу, чтобы прекратить дальнейшее кровопролитие. О, для экспромта это было недурно выполнено! Но я предполагаю — не могу этого доказать, — я предполагаю, что, пока они сидели в кровавой трясине, у кого-то зародились сомнения и кто-то угадал правду… — Он замолчал, а потом добавил: — Внутренний голос подсказывает мне, что это был жених его дочери, ее будущий муж. — Но почему же тогда Оливье повесил Сент-Клэра? — спросил Фламбо. — Отчасти из рыцарства, отчасти из политических соображений Оливье редко обременял свои войска пленными, — объяснил рассказчик. — В большинстве случаев он всех отпускал. И в этот раз он отпустил всех. — Всех, кроме генерала, — поправил высокий человек. — Всех, — повторил священник. Фламбо нахмурил черные брови. — Я не совсем понимаю вас, — сказал он. — А теперь я нарисую вам другую картину, Фламбо, — таинственным полушепотом начал Браун. — Я ничего не могу доказать, но — и это важнее! — я вижу все. Представьте себе военный лагерь, который снимается поутру с голых, выжженных зноем холмов, и мундиры бразильцев, выстроенных в походные колонны. На ветру развеваются крас-

ная рубаха и длинная черная борода Оливье, в руке он держит широкополую шляпу. Он прощается со своим врагом и отпускает его на свободу — простого английского ветерана с белой, как снег, головой, который благодарит его от имени своих солдат. Оставшиеся в живых англичане стоят навытяжку позади генерала, рядом — запасы провианта и повозки для отступления. Рокочут барабаны — бразильцы трогаются в путь, англичане стоят, как изваяния. Они не шевелятся до того момента, пока бразильцы не скрываются за тропическим горизонтом и не затихает топот их ног. Тогда, встрепенувшись, они сразу ломают строй; к генералу обращаются пятьдесят лиц — лиц, которые нельзя забыть. Фламбо подскочил от возбуждения. — О! — воскликнул он. — Неужели?.. — Да, — сказал отец Браун глубоким взволнованным голосом. — Это рука англичанина накинула петлю на шею Сент-Клэра, — думаю, та же рука, которая надела кольцо на палец его дочери. Это руки англичан подтащили его к древу позора, руки тех самых людей, которые преклонялись перед ним и шли за ним, веря в победу. Это глаза англичан — да простит и укрепит нас Господь смотрели на него, когда он висел в лучах чужеземного солнца на

зеленой виселице-пальме. И это англичане молились о том, чтобы душа его провалилась прямо в ад. Как только путники достигли гребня холма, навстречу им хлынул яркий свет, пробивавшийся сквозь красные занавески гостиничных окон. Гостиница стояла у обочины дороги, маня прохожих своим гостеприимством. Три ее двери были приветливо раскрыты, и даже с того места, где стояли отец Браун и Фламбо, слышались говор и смех людей, которым посчастливилось найти приют в такую ночь. — Вряд ли нужно рассказывать о том, что случилось дальше, — сказал отец Браун. — Они судили его и там же, на месте, казнили; потом, ради славы Англии и доброго имени его дочери, поклялись молчать о набитом кошельке изменника и сломанной шпаге убийцы. Должно быть — помоги им в этом небо! они попытались обо всем забыть. Попытаемся забыть и мы. А вот и гостиница. — Забыть? С удовольствием! — сказал Фламбо. Он уже стоял перед входом в шумный, ярко освещенный бар, как вдруг попятился и чуть не упал. Посмотрите-ка, что за чертовщина! — закричал он, указывая на прямоугольную деревянную вывеску над входом. На ней красовалась грубо намалеванная шпага с укороченным лезвием и псевдоарха-

ичными буквами было начертано: «Сломанная шпага». — Что ж тут такого? — пожал плечами отец Браун. — Он — кумир всей округи; добрая половина гостиниц, парков и улиц названа в честь генерала и его подвигов. — А я-то думал, мы покончили с этим прокаженным! — вскричал Фламбо и сплюнул на дорогу. — В Англии с ним никогда не покончат, — ответил священник, — до тех пор, пока тверда бронза и не рассыпался камень. Столетиями его мраморные статуи будут вдохновлять души гордых наивных юношей, а его сельская могила станет символом верности, подобно цветку лилии. Миллионы людей, никогда не знавших его, будут, как родного отца, любить этого человека, с которым поступили, как с дерьмом, те, кто его знал. Его будут почитать как святого, и никто не узнает правды — так я решил. В разглашении тайны много и плохих, и хороших сторон, — правильность своего решения я проверю на опыте. Все эти газеты исчезнут, антибразильская шумиха уже кончилась, к Оливье повсюду относятся с уважением. Но я дал себе слово: если хоть где-нибудь появится надпись — на металле или на мраморе, долговечном, как пирамиды, — несправедливо обвиняющая в смерти генерала полковника Кланси, капитана

Кейта, президента Оливье или другого невинного человека, тогда я заговорю. А если все ограничится незаслуженным восхвалением Сент-Клэра, я буду молчать. И я сдержу свое слово! Они вошли в таверну, которая оказалась не только уютной, но даже роскошной. На одном из столов стояла серебряная копия памятника с могилы Сент-Клэра — серебряная голова склонена, серебряная шпага сломана. Стены таверны были увешаны цветными фотографиями: одни изображали все ту же гробницу, другие — экипажи, в которых приезжали осматривать ее туристы. Отец Браун и Фламбо уселись в удобные мягкие кресла. — Ну и холод! — воскликнул отец Браун. — Выпьем вина или пива? — Лучше бренди, — сказал Фламбо.

ТРИ ОРУДИЯ СМЕРТИ

По роду своей деятельности, а также и по убеждениям отец Браун лучше, чем большинство из нас, знал, что всякого человека удостаивают почестей и всяческого внимания, когда человек этот мертв. Но даже он был потрясен дикой нелепостью происшедшего, когда на рассвете его подняли с постели и сообщили, что сэр Арон Армстронг стал жертвой убийства. Было что-то бессмысленное и постыдное в тайном злодеянии, совершенном над столь обворожительной и

прославленной личностью. Ведь сэр Арон был обворожителен до смешного, а слава его стала почти легендарной. Новость произвела такое впечатление, словно вдруг стало известно, что Солнечный Джим повесился или мистер Пиквик умер в Хэнуолле. Дело в том, что, хотя сэр Арон и был филантропом, а стало быть, соприкасался с темными сторонами нашего общества, он гордился тем, что соприкасается с ними в духе самого искреннего добродушия, какое только возможно. Его речи на политические и общественные темы представляли собой каскад шуток и «громового смеха»; его здоровье было поистине цветущим; его нравственность зиждилась на неистребимом оптимизме; соприкасаясь с проблемой пьянства (это была излюбленная тема его рассуждений), он выказывал неувядаемую и даже несколько однообразную веселость, столь часто присущую человеку, который в рот не берет спиртного и не испытывает ни малейшей потребности выпить. Общеизвестную историю его обращения в трезвенники постоянно поминали с самых пуританских трибун и кафедр, рассказывая, как он еще в раннем детстве был отвлечен от шотландского богословия пристрастием к шотландскому виски, как он вознесся превыше того и другого и стал (по

собственному его скромному выражению) тем, что он есть. Правда, глядя на его пышную седую бороду, лицо херувима и очки, поблескивающие на бесчисленных обедах и заседаниях, где он неизменно присутствовал, трудно было поверить, что он мог когда-либо являть собою нечто столь тошнотворное, как умеренно пьющий человек или истовый кальвинист. Сразу чувствовалось, что это самый серьезный весельчак из всех представителей рода человеческого. Жил он в тихом предместье Хемпстеда, в красивом особняке, высоком, но очень тесном, с виду похожем на башню, вполне современную и ничем не примечательную. Самая узкая из всех узких стен этого дома выходила прямо к крутой, поросшей дерном железнодорожной насыпи и содрогалась всякий раз, когда мимо проносились поезда. Сэр Армстронг, как с большой горячностью уверял он сам, был человеком, совершенно лишенным нервов. Но если проходящий поезд часто потрясал дом, то в это утро все было наоборот, — дом причинил потрясение поезду. Локомотив замедлил ход и остановился в том самом месте, где угол дома нависал над крутым травянистым откосом. Остановить эту самую бездушную из мертвых машин удается далеко не сразу; но живая душа,

бывшая причиной остановки, действовала поистине стремительно. Некий человек, одетый во все черное, вплоть до (это запомнилось очевидцам) такой мелочи, как леденящие душу черные перчатки, вынырнул словно из-под земли у края железнодорожного полотна и замахал черными руками, словно какая-то жуткая мельница. Сами по себе подобные действия едва ли могли бы остановить поезд даже на малом ходу. Но при этом человек испустил вопль, который впоследствии описывали как нечто совершенно дикое и нечеловеческое. Вопль был из тех звуков, которые едва внятны, даже если они слышны вполне отчетливо. В данном случае было выкрикнуто слово: «Убийство!». Однако машинист клянется, что остановил бы поезд в любом случае, даже если бы услышал не слово, а лишь зловещий неповторимый голос, который его выкрикнул. Едва поезд затормозил, сразу же обнаружились многие подробности недавней трагедии. Мужчина в черном, появившийся на краю зеленого откоса, был лакей сэра Арона Армстронга, угрюмый человек по имени Магнус. Баронет со свойственной ему беззаботностью частенько посмеивался над черными перчатками своего мрачного слуги; но теперь никто не склонен был над ними смеяться.

Когда несколько любопытствующих спустились с насыпи и прошли за почерневшую от сажи изгородь, они увидели скатившееся до самого низа откоса тело старика в желтом домашнем халате с ярко-алой подкладкой. Нога убитого была захлестнута веревочной петлей, накинутой, по-видимому, во время борьбы. Были замечены и пятна крови, правда, весьма немногочисленные; но труп был изогнут или, вернее, скорчен и лежал в позе, какую немыслимо принять живому существу. Это и был сэр Арон Армстронг. Через несколько минут подоспел рослый светлобородый человек, в котором кое-кто из ошеломленных пассажиров признал личного секретаря покойного, Патрика Ройса, некогда хорошо известного в богемных кругах и даже прославленного в богемных искусствах. Выказывая свои чувства более неопределенным, но при этом и более убедительным образом, он стал вторить горестным причитаниям лакея. А когда из дома появилась еще и третья особа, Элис Армстронг, дочь умершего, которая бежала неверными шагами и махала рукой в сторону сада, машинист решил, что далее медлить нельзя. Он дал свисток, и поезд, пыхтя, тронулся к ближайшей станции за помощью. Так получилось, что отца Брауна срочно вызвали по

просьбе Патрика Ройса, этого рослого секретаря, в прошлом связанного с богемой. По происхождению Ройс был ирландец; он принадлежал к числу тех легкомысленных католиков, которые никогда и не вспоминают о своем вероисповедании, покуда не попадут в отчаянное положение. Но вряд ли просьбу Ройса исполнили бы так быстро, не будь один из официальных сыщиков другом и почитателем непризнанного Фламбо: ведь невозможно быть другом Фламбо и при этом не наслушаться бесчисленных рассказов про отца Брауна. А посему, когда молодой сыщик (чья фамилия была Мертон) вел маленького священника через поля к линии железной дороги, беседа их была гораздо доверительней, нежели можно было бы ожидать от двоих совершенно незнакомых людей. — Насколько я понимаю, — заявил Мертон без обиняков, — разобраться в этом деле просто немыслимо. Тут решительно некого заподозрить. Магнус напыщенный старый дурак; он слишком глуп для того, чтобы совершить убийство. Ройс вот ухе много лет был самым близким другом баронета, ну а дочь, без сомнения, души не чаяла в своем отце. И помимо прочего, все это — сплошная нелепость. Кто бы стал убивать старого весельчака? У кого поднялась бы рука пролить

кровь безобидного человека, который так любил застольные разговоры? Ведь это все равно что убить рождественского деда. — Да, в доме у него действительно царило веселье, — согласился отец Браун. Веселье это не прекращалось, покуда хозяин оставался в живых. Но как вы полагаете, сохранится ли оно теперь, после его смерти? Мертон слегка вздрогнул и взглянул на собеседника с живым любопытством. — После его смерти? — переспросил он. — Да, — бесстрастно продолжал священник, — хозяин-то был веселым человеком. Но заразил ли он своим весельем других? Скажите откровенно, есть ли в доме еще хоть один веселый человек, кроме него? В мозгу у Мертона словно приоткрылось оконце, и через него проник тот странный проблеск удивления, который вдруг проясняет то, что было известно с самого начала. Ведь он часто заходил к Армстронгам по делам, которые старый филантроп вел с полицией; и теперь он вспомнил, что атмосфера в доме действительно была удручающая. В комнатах с высокими потолками стоял холод; обстановка отличалась дурным вкусом и дешевой провинциальностью; в коридорах, где гулял сквозняк, горели слабые электрические лампочки, светившие не ярче луны. И хотя румяная физиономия

старика, обрамленная серебристо-седой бородой, озаряла ярким костром каждую комнату и каждый коридор, она не оставляла по себе ни капли тепла. Разумеется, это ощущение могильного холода до известной степени порождалось самой жизнерадостностью и кипучестью владельца дома: ему не нужны печи или лампы, сказал бы он, потому что его согревает собственное тепло. Но когда Мертон вспомнил других обитателей, ему пришлось признать, что они были лишь тенями хозяина. Угрюмый лакей с его чудовищными черными перчатками вполне мог бы привидеться в ночном кошмаре; Ройс, личный секретарь, здоровяк в твидовых брюках, смахивающий на быка, носил коротко подстриженную бородку, но в этой соломенно-желтой бородке уже странным образом пробивалась ранняя седина, а широкий лоб избороздили морщины. Конечно, он был вполне добродушен, но добродушие его было какое-то печальное, почти скорбное, — у него был такой вид, словно в жизни его посигла жестокая неудача. Ну, а если взглянуть на дочь Армстронга, трудно поверить, что она и в самом деле приходится ему дочерью; лицо у нее такое бледное, с болезненными чертами. Она не лишена изящества, но во всем ее облике ощущается затаенный трепет, ко-

торый делает ее похожей на осу. Иногда Мертон думал, что она, вероятно, очень пугается грохота поездов. — Видите ли, — сказал отец Браун, едва заметно подмигивая, — я отнюдь не уверен, что веселость Армстронга доставляла большое удовольствие… м-м… его ближним. Вот вы говорите, что никто не мог убить такого славного старика, а я в этом далеко не убежден: ne nos inducas in temptatione* Почему? — вскричал изумленный Мертон. — Неужели вы считаете, что людям не по душе веселый нрав? — Людям по душе, когда вокруг них часто смеются, — ответил отец Браун, — но я сомневаюсь, что им по душе, когда кто-либо всегда улыбается. Безрадостное веселье очень докучливо. На этом разговор оборвался, и некоторое время они молча шли, обдуваемые ветром, вдоль рельсов по травянистой насыпи, а когда добрались до длинной тени дома Армстронга, отец Браун вдруг сказал с таким видом, словно хотел отбросить тревожную мысль, а не высказать ее всерьез: — Разумеется, в пристрастии к спиртному как таковому нет ни хорошего, ни дурного. Но иной раз мне невольно приходит на ум, что людям вроде Армстронга порою нужен бокал вина, чтобы стать немного печальней. Начальник Мертона по службе, седовласый сы-

щик с незаурядными способностями, стоял на травянистом откосе, дожидаясь следователя, и разговаривал с Патриком Ройсом, чьи могучие плечи и всклокоченная бородка возвышались над его головою. Это было тем заметней еще и потому, что Ройс имел привычку слегка горбить крепкую спину и, когда отправлялся по церковным или домашним делам, двигался тяжело и неторопливо, словно буйвол, запряженный в прогулочную коляску. При виде священника Ройс с несвойственной ему приветливостью поднял голову и отвел его на несколько шагов в сторону. А Мертон тем временем обратился к старшему сыщику не без почтительности, но по-мальчишески нетерпеливо: — Ну как, мистер Гилдер, далеко ли вы продвинулись в вскрытии этой тайны? — Никакой тайны здесь нет, — отозвался Гилдер, сонно щурясь на грачей, которые сидели поблизости. — Ну мне, по крайней мере, кажется, что тайна все же есть, — возразил Мертон с улыбкой. — Дело совсем простое, мой мальчик, — обронил старшй сыщик, поглаживая седую остроконечную бородку. — Через три минуты после того как вы по просьбе мистера Ройса отправились за священником, вся история стала ясна, как день. Вы знаете одутловатого лакея в

черных перчатках, того самого, который остановил поезд? — Как не знать. При виде его у меня мурашки поползли во коже. — Итак, — промолвил Гилдер, — когда поезд исчез из виду, человек этот тоже исчез. Вот уж поистине хладнокровный преступник! Удрал на том самом поезде, который должен был вызвать полицию, ведь ловко? — Стало быть, вы совершенно уверены, — заметил младший сыщик, — что он действительно убил своего хозяина? — Да, сынок, совершенно уверен, — ответил Гилдер сухо, — уже хотя бы по той пустяковой причине, что он прихватил двадцать тысяч фунтов наличными из письменного стола. Нет, теперь единственное затруднение, если только это вообще можно так назвать, состоит в том, чтобы выяснить, как именно он его убил. Похоже, что череп проломлен каким-то тяжелым предметом, но поблизости тяжелых предметов не обнаружено, а унести оружие с собой было бы для убийцы обременительно, разве что оно очень маленькое и потому не привлекло внимания. — Возможно, оно, напротив, очень большое и потому не привлекло внимания, произнес маленький священник со странным, отрывистым смешком. Услышав такую нелепость, Гилдер повернулся и сурово просил отца Брауна, как

понимать его слова. — Я сам знаю, что выразился глупо, — сказал отец Браун со смущением. Получается как в волшебной сказке. Но бедняга Армстронг убит дубиной, которая по плечу только великану, большой зеленой дубиной, очень большой и потому незаметной, ее обычно называют землей. Он расшибся насмерть вот об эту зеленую насыпь, на которой мы сейчас стоим. — Куда это вы клоните? — с живостью спросил сыщик. Отец Браун обратил круглое, как луна, лицо к фасаду дома и поглядел вверх, близоруко сощурив глаза. Проследив за его взглядом, все увидели на самом верху этой глухой части дома, в мезонине, распахнутое настежь окно. — Разве вы не видите, — сказал он, указывая на окно пальцем с какой-то детской неловкостью, — что он упал вон оттуда? Гилдер, насупясь, глянул на окно и произнес: — Да, это вполне вероятно. Но я все-таки не понимаю, откуда у вас такая уверенность. Отец Браун широко открыл серые глаза. — Ну как же, — сказал он, — ведь на ноге у трупа обрывок веревки. Разве вы не видите, что вон там из окна свисает другой обрывок? На такой высоте все предметы казались крохотными пылинками или волосками, но проницательный старый сыщик остался доволен объяснением. —

Вы правы, сэр, — сказал он отцу Брауну. — Очко в вашу пользу. Едва он успел вымолвить эти слова, как экстренный поезд, состоявший из единственного вагона, преодолел поворот слева от них, остановился и изверг из себя целый отряд полисменов, среди которых виднелась отталкивающая рожа Магнуса, беглого лакея. — Вот это ловко, черт возьми! Его уже арестовали! — вскричал Гилдер и устремился вперед с неожиданной живостью. — А деньги были при нем? — крикнул он первому полисмену. Тот посмотрел ему в лицо несколько странным взглядом и ответил: — Нет. — Помолчав, он добавил: — По крайней мере, здесь их нету. — Кто будет инспектор, осмелюсь спросить? — сказал меж тем Магнус. Едва он заговорил, все сразу поняли, почему его голос остановил поезд. Внешне это был человек мрачного вида, с прилизанными черными волосами, с бесцветным лицом, чуть раскосыми, как у жителей Востока, глазами и тонкогубым ртом. Его происхождение и настоящее имя вряд ли были известны с тех пор, как сэр Арон «спас» его от работы официанта в лондонском ресторане, а также (как утверждали некоторые) заодно и от других, куда более неблаговидных обстоятельств. Но голос у него был столь же впечатляющий,

сколь лицо казалось бесстрастным. То ли из-за тщательности, с которой он выговаривал слова чужого языка, то ли из предупредительности к хозяину (который был глуховат) речь Магнуса отличалась необычайной резкостью и пронзительностью, и когда он заговорил, окружающие чуть не подскочили на месте. — Я так и знал, что это случится, — произнес он во всеуслышание, вызывающе и невозмутимо. — Мой покойный хозяин потешался надо мной, потому что я ношу черную одежду, но я всегда говорил, что зато мне не надо будет надевать траур, когда наступит время идти на его похороны. Он сделал быстрое, выразительное движение руками в черных перчатках. — Сержант, — сказал инспектор Гилдер, с бешенством уставившись на черные перчатки. — Почему этот негодяй до сих пор гуляет без наручников? Ведь сразу видно, что перед нами опасный преступник. — Позвольте, сэр, — сказал сержант, на лице которого застыло бессмысленное удивление. — Я не уверен, что мы имеем на это право. — Как прикажете вас понимать? — резко спросил инспектор. — Разве вы его не арестовали? Тонкогубый рот тронула едва уловимая презрительная усмешка, и тут, словно вторя этой издевке, раздался свисток под-

ходящего поезда. — Мы арестовали его, — сказал сержант серьезно, — в тот самый миг, когда он выходил из полицейского участка в Хайгейтс, где передал все деньги своего хозяина в руки инспектора Робинсона. Гилдер поглядел на лакея с глубочайшим изумлением. — Чего ради вы это сделали? — спросил он у Магнуса. — Ну, само собой, чтоб деньги не попали в руки преступника, а были в целости и сохранности, — ответил тот с невозмутимым спокойствием. — Без сомнения, — сказал Гилдер, — деньги сэра Арона были бы в целости и сохранности, если б вы передали их его семейству. Последние слова потонули в грохоте колес, и поезд, лязгая и подрагивая, промчался мимо; но этот адский шум, то и дело раздававшийся подле злополучного дома, был перекрыт голосом Магнуса, чьи слова прозвучали явственно и гулко, как удары колокола: — У меня нет оснований доверять семейству сэра Арона. Все присутствующие замерли на месте, ощутив, что некто, бесшумно, как призрак, появился рядом; и Мертон ничуть не удивился, когда поднял голову и увидел поверх плеча отца Брауна бледное лицо дочери Армстронга. Она была еще молода и хороша собою, вся светилась чистотой, но каштановые ее волосы заметно

поблекли и потускнели, а кое-где в них даже просвечивала седина. — Будьте поосторожней в выражениях, — сердито сказал Ройс, — вы напугали мисс Армстронг. — Смею надеяться, что мне это удалось, — отозвался Магнус своим зычным голосом. Пока девушка непонимающе глядела на него, а все остальные предавались удивлению, каждый на свой лад, он продолжал: — Я как-то привык к тому, что мисс Армстронг частенько трясется. Вот уже много лет у меня на глазах ее время от времени бьет дрожь. Одни говорили, будто она дрожит от холода, другие утверждали, что это со страху, но я-то знаю, что дрожала она от ненависти и низменной злобы — этих демонов, которые сегодня утром наконец восторжествовали. Если бы не я, ее след бы уже простыл, сбежала бы со своим любовником и со всеми денежками. С тех самых пор как мой покойный хозяин не позволил ей выйти за этого гнусного пьянчугу… — Замолчите, — сказал Гилдер сурово. — Все эти ваши выдумки или подозрения о семейных делах нас не интересуют. И если у вас нет каких-либо вещественных доказательств, то голословные утверждения… — Ха! Я представлю вам вещественные доказательства, — прервал его Магнус резким голосом. — Извольте, инспек-

тор, вызвать меня в суд, и я не премину сказать правду. А правда, вот она: через секунду после того, как окровавленного старика вышвырнули в окно, я бросился в мезонин и увидел там его дочку. Она валялась в обмороке на полу, и в руке у нее был кинжал, красный от крови. Позвольте мне заодно передать властям вот эту штуку. Тут он вынул из заднего кармана длинный нож с роговой рукояткой и красным пятном на лезвии и вручил его сержанту. Потом он снова отступил в сторону, и щелки его глаз почти совсем заплыли на пухлой китайской физиономии, сиявшей торжествующей улыбкой. При виде этого Мертона едва не стошнило; он сказал Гилдеру вполголоса: — Надеюсь, вы поверите на слово не ему, а мисс Армстронг? Отец Браун вдруг поднят лицо, необычайно свежее и розовое, словно он только что умылся холодной водой. — Да, — сказал он, источая неотразимое простодушие. — Но разве слово мисс Армстронг непременно должно противоречить слову свидетеля? Девушка испустила испуганный, отрывистый крик; все взгляды обратились на нее. Она окаменела, словно разбитая параличом; только лицо, обрамленное тонкими каштановыми волосами, оставалось живым, потрясенное и недоумевающее. Она стояла с таким

видом, как будто на шее у нее затягивалась петля. — Этот человек, — веско промолвил мистер Гилдер, — недвусмысленно заявляет, что застал вас с ножом в руке, без чувств, сразу же после убийства. — Он говорит правду, — отвечала Элис. Когда присутствующие опомнились, они увидели, что Патрик Ройс, пригнув массивную голову, вступил в середину круга, после чего произнес поразительные слова: — Ну что ж, если мне все равно пропадать, я сперва хоть отведу душу. Его широкие плечи всколыхнулись, и железный кулак нанес сокрушительный удар по благодушной восточной физиономии мистера Магнуса, который тотчас же распростерся на лужайке, словно морская звезда. Несколько полисменов немедленно схватили Ройса; остальным же от растерянности почудилось, будто все разумное летит в тартарары и мир превращается в сцену, на которой разыгрывается нелепое шутовское зрелище. — Бросьте эти штучки, мистер Ройс, — властно сказал Гилдер. — Я арестую вас за оскорбление действием. — Ничего подобного, — возразил ему Ройс голосом гулким, как железный гонг. Вы арестуете меня за убийство. Гилдер с тревогой взглянул на поверженного; но тот уже сел, вытирая редкие капли крови с почти не по-

врежденного лица, и потому инспектор только спросил отрывисто: — Что это значит? — Этот малый сказал истинную правду, — объяснил Ройс. — Мисс Армстронг лишилась чувств и упала с ножом в руке. Но она схватила нож не для того, чтобы убить своего отца, а для того, чтобы его защитить. — Защитить? — повторил Гилдер серьезно. — От кого же? — От меня, — отвечал Ройс. Элис взглянула на него ошеломленно и испуганно; потом проговорила тихим голосом: — Ну что ж, в конце концов я рада, что вы не утратили мужества. Мезонин, где была комната секретаря (довольно тесная келья для такого исполинского отшельника), хранил все следы недавней драмы. Посреди комнаты, на полу, валялся тяжелый револьвер, по-видимому, кем-то отброшенный в сторону; чуть левее откатилась к стене бутылка из-под виски, откупоренная, но недопитая. Тут же лежала скатерть, сорванная с маленького столика и растоптанная, а обрывок веревки, такой же самой, какую обнаружили на трупе, был переброшен через подоконник и нелепо болтался в воздухе. Осколки двух разбитых вдребезги ваз усеивали каминную полку и ковер. — Я был пьян, — сказал Ройс; простота, с которой держался, этот преждевременно соста-

ривший человек, выглядела трогательно, как первое раскаяние нашалившего ребенка. — Вы все слышали про меня, — продолжал он хриплым голосом. — Всякий слышал, как началась моя история, и теперь она, видимо, кончится столь же печально. Некогда я слыл. умным человеком и мог бы быть счастлив: Армстронг спас остатки моей души и тела, вытащил меня из кабаков и всегда по-своему был ко мне добр, бедняга! Только он ни в коем случае не позволил бы мне жениться на Элис, и надо прямо признать, что он был прав. Ну, а теперь сами делайте выводы, не принуждайте меня касаться подробностей. Вон там, в углу, моя бутылка с виски, выпитая наполовину, а вот мой револьвер на ковре, уже разряженный. Веревка, которую нашли на трупе, лежала у меня в ящике, и труп был выброшен из моего окна. Вам незачем пускать по моему следу сыщиков, чтобы проследить мою трагедию: она не нова в этом проклятом мире. Я сам обрекаю себя на виселицу, и, видит Бог, этого вполне достаточно! Инспектор сделал едва уловимый жест, и полисмены окружили дюжего человека, готовясь увести его незаметно; но им это не вполне удалось ввиду поразительного появления отца Брауна, который внезапно переступил по-

рог, двигаясь по ковру на четвереньках, словно он совершал некий кощунственный обряд. Совершенно равнодушный к тому впечатлению, которое его поступок произвел на окружающих, он остался в этой позе, но повернул к ним умное круглое лицо, похожий на забавное четвероногое существо с человеческой головою. — Послушайте, — сказал он добродушно, — право же, это ни в какие ворота не лезет, согласитесь сами. Сначала вы заявили, что не нашли оружия. Теперь же мы находим его в избытке: вот нож, которым можно зарезать, вот веревка, которой можно удавить, и вот револьвер, а в конечном итоге старик разбился, выпав из окна. Нет, я вам говорю, это ни в какие ворота не лезет. Это уж слишком. И он тряхнул опущенной головой, словно конь на пастбище. Инспектор Гилдер, преисполненный решимости, открыл рот, но не успел слова вымолвить, потому что забавный человек, стоявший на четвереньках, продолжал пространные рассуждения: — И вот перед нами три немыслимых обстоятельства. Первое — это дыры в ковре, куда угодили шесть пуль. С какой стати кому-то понадобилось стрелять в ковер? Пьяный дырявит голову врагу, который скалит над ним зубы. Он не ищет повода ухватить его за ноги или взять

приступом его домашние туфли. А тут еще эта веревка… Оторвавшись от ковра, отец Браун поднял руки, сунул их в карманы, но продолжал стоять на коленях. — В каком умопостижимом опьянении может человек захлестывать петлю на чьей-то шее, а в результате захлестнуть ее на ноге? И в любом случае Ройс не был так уж сильно пьян, иначе он сейчас спал бы беспробудным сном. Но самое явное свидетельство — это бутылка с виски. По-вашему, выходит, что алкоголик дрался за бутылку, одержал верх, потом швырнул ее в угол, причем половину пролил, а ко второй половине даже не притронулся. Смею заверить, никакой алкоголик так не поступит. Он неуклюже встал на ноги и с явным сожалением сказал мнимому убийце, который оговорил сам себя: — Мне очень жаль, любезнейший, но ваша версия, право же, неудачна. — Сэр, — тихонько сказала Элис Армстронг священнику, — вы позволите поговорить с вами наедине? Услышав эту просьбу, словоохотливый пастырь прошел через лестничную площадку в другую комнату, но прежде чем он успел открыть рот, девушка заговорила сама, и в голосе ее звучала неожиданная горечь. — Вы умный человек, — сказала она, — и вы хотите выручить Патрика, я знаю. Но это бес-

полезно. Подоплека у этого дела прескверная, и чем больше вам удастся выяснить, тем больше будет улик против несчастного человека, которого я люблю. — Почему же? — спросил Браун, твердо глядя ей в лицо. — Да потому, — ответила она с такой же твердостью, — что я своими глазами видела, как он совершил преступление. — Так! — невозмутимо сказал Браун. — И что же именно он сделал? — Я была здесь, в этой самой комнате, — объяснила она. — Обе двери были закрыты, но вдруг раздался голос, какого я не слыхала в жизни, голос, похожий на рев. «Ад! Ад! Ад!» — выкрикнул он несколько раз кряду, а потом обе двери содрогнулись от первого револьверного выстрела. Прежде чем я успела распахнуть эту и ту двери, грянули три выстрела, а потом я увидела, что комната полна дыма и револьвер в руке моего бедного Патрика тоже дымится, и я видела, как он выпустил последнюю страшную пулю. Потом он прыгнул на отца, который в ужасе прижался к оконному косяку, сцепился с ним и попытался задушить его веревкой, которую накинул ему на шею, но в борьбе веревка соскользнула с плеч и упала к ногам. Потом она захлестнула одну ногу, а Патрик, как безумный, поволок отца. Я схватила с пола нож, кинулась между ними и

успела перерезать веревку, а затем лишилась чувств. — Понятно, — сказал отец Браун все с той же бесстрастной любезностью. Благодарю вас. Девушка поникла под бременем тяжких воспоминаний, а священник спокойно ушел в соседнюю комнату, где оставались только Гилдер и Мертон с Патриком Рейсом, который в наручниках сидел на стуле. Отец Браун сказал инспектору: — Вы позволите мне поговорить с арестованным в вашем присутствии? И нельзя ли на минутку освободить его от этих никчемных наручников? — Он очень силен, — сказал Мертон вполголоса. — Зачем вы хотите снять наручники? — Я хотел бы, — смиренно произнес священник, — удостоиться чести пожать ему руку. Оба сыщика уставились на отца Брауна в недоумении, а он продолжал: — Сэр, вы не расскажете им, как было дело? Сидевший на стуле покачал взъерошенной головой, а священник нетерпеливо обернулся. — Тогда я расскажу сам, — проговорил он. — Человеческая жизнь дороже посмертной репутации. Я намерен спасти живого, и пускай мертвые хоронят своих мертвецов. Он подошел к роковому окну и, помаргивая, продолжал: — Я уже говорил вам, что в данном случае перед нами слишком много оружия и всего лишь одна смерть. А теперь я

говорю, что все это не служило оружием и не было использовано, дабы причинить смерть. Эти ужасные орудия — петля, окровавленный нож, разряженный револьвер — служили своеобразному милосердию. Их употребили отнюдь не для того, чтобы убить сэра Арона, а для того, чтобы его спасти. — Спасти! — повторил Гилдер. — Но от чего? — От него самого, — сказал отец Браун, — он был сумасшедший и пытался наложить на себя руки. — Как? — вскричал Мертон, полный недоверия. — А наслаждение жизнью, которое он исповедовал? — Это жестокое вероисповедание, — сказал священник, выглядывая из окна. Почему бы ему не поплакать, как плакали некогда его предки? Лучшим его намерениям не суждено было осуществиться, душа стала холодной, как лед: под веселой маской скрывался пустой ум безбожника. Наконец, для того чтобы поддержать свою репутацию весельчака, он снова начал выпивать, хотя бросил это дело давным-давно. Но в подлинном трезвеннике неистребим ужас перед алкоголизмом: такой человек живет в прозрении и ожидании того психологического ада, от которого предостерегал других. Ужас этот безвременно погубил беднягу Армстронга. Сегодня утром он был в невыносимом состоянии, сидел

здесь и кричал, что он в аду, таким безумным голосом, что собственная дочь его не узнала. Он безумно жаждал смерти и с редкостной изобретательностью, свойственной одержимым людям, разбросал вокруг себя смерть в разных обличьях: петлю-удавку, револьвер своего друга и нож. Ройс случайно вошел сюда и действовал немедленно. Он швырнул нож на ковер, схватил револьвер и, не имея времени его разрядить, выпустил все пули одна за другой прямо в пол. Но тут самоубийца увидел четвертое обличье смерти и метнулся к окну. Спаситель сделал единственное, что оставалось, — кинулся за ним с веревкой и попытался связать его по рукам и по ногам. Тут-то и вбежала несчастная девушка и, не понимая, из-за чего происходит борьба, попыталась освободить отца. Сперва она только полоснула ножом по пальцам бедняги Ройса, отсюда и следы крови на лезвии. Вы, разумеется, заметили, что, когда он ударил лакея, кровь на лице была, хотя никакой раны не было? Перед тем как упасть без чувств, бедняжка успела перерезать веревку и освободить отца, а он выпрыгнул вот в это окно и низвергся в вечность. Наступило долгое молчание, которое наконец нарушило звяканье металла, — это Гилдер разомкнул наручники, сковывавшие Патрика Ройса,

и заметил: — Думается мне, сэр, вам следовало сразу сказать правду. Вы и эта юная особа стоите больше, чем некролог Армстронга. — Плевать мне на этот некролог! — грубо крикнул Ройс. — Разве вы не понимаете — я молчал, чтобы скрыть от нее! — Что скрыть? — спросил Мертон. — Да то, что она убила своего отца, болван вы этакий! — рявкнул Ройс. Ведь когда бы не она, он был бы сейчас жив. Если она узнает, то сойдет с ума от горя. — Право, не думаю, — заметил отец Браун, берясь за шляпу. — Пожалуй, я лучше скажу ей сам. Даже роковые ошибки не отравляют жизнь так, как грехи. И во всяком случае, мне кажется, впредь вы будете гораздо счастливее. А я сейчас должен вернуться в школу для глухих. Когда он вышел на лужайку, где трава колыхалась от ветра, его окликнул какой-то знакомый из Хайгейта: — Только что приехал следователь. Сейчас начнется дознание. — Я должен вернуться в школу, — сказал отец Браун, — К сожалению, мне недосуг, и я не могу присутствовать при дознании.